

Николай Алексеевич Некрасов, Авдотья
Яковлевна Панаева

Мертвое озеро



Николай Некрасов

Мертвое озеро

«Public Domain»

1851

Некрасов Н. А.

Мертвое озеро / Н. А. Некрасов — «Public Domain», 1851

«Четыре часа пополудни; день жаркий, но воздух чист и ароматен. Солнце усердно нагревает темно-серые стены большого, неуклюжего дома, стоящего вдали от прочих деревенских изб. Об архитектуре его можно сказать одно: вероятно, он был недостроен, когда его покрыли крышей. Окна, маленькие и редкие, наглухо заперты. У дома есть и сад; но он нисколько не защищает его от солнца; кроме кустов сирени да акаций, не видно в нем никаких дерев. Впрочем, в нем найдется всё необходимое для деревенского сада: крытая аллея из акаций, с беседкой, несколько дряхлых скамеек, расставленных на дурно выметенных дорожках; в стороне — гряды с клубникой, а по забору тянутся кусты смородины и малины...»

© Некрасов Н. А., 1851

© Public Domain, 1851

Содержание

Часть первая	5
Глава I	5
Глава II	10
Глава III	19
Глава IV	22
Глава V	29
Часть вторая	35
Глава VI	35
Глава VII	42
Глава VIII	46
Глава IX	53
Глава X	57
Глава XI	64
Глава XII	68
Часть третья	72
Глава XIII	72
Глава XIV	77
Глава XV	83
Глава XVI	88
Глава XVII	92
Часть четвертая	98
Глава XVIII	98
Глава XIX	105
Глава XX	111
Глава XXI	114
Глава XXII	117
Конец ознакомительного фрагмента.	118

Николай Некрасов, Авдотья Панаева

Мертвое озеро

Часть первая

Глава I

Летний вечер

Четыре часа пополудни; день жаркий, но воздух чист и ароматен. Солнце усердно нагревает темно-серые стены большого, неуклюжего дома, стоящего вдали от прочих деревенских изб. Об архитектуре его можно сказать одно: вероятно, он был недостроен, когда его покрыли крышей. Окна, маленькие и редкие, наглухо заперты. У дома есть и сад; но он нисколько не защищает его от солнца; кроме кустов сирени да акаций, не видно в нем никаких дерев. Впрочем, в нем найдется всё необходимое для деревенского сада: крытая аллея из акаций, с беседкой, несколько дряхлых скамеек, расставленных на дурно выметенных дорожках; в стороне – гряды с клубникой, а по забору тянутся кусты смородины и малины. Полусгнившая терраса с колоннами и деревянными перилами, выкрашенными белой краской, выходит в сад, и от нее тянется дорожка; она спускается вниз к небольшой реке, которая вся покрыта болотными лилиями и другими травами. Через речку перекинут узенький мостик в китайском вкусе. Переходящему его нужно иметь достаточный запас мужества, потому что местами доски сгнили, а остальные прыгали от прикосновения. Но за смелость свою он щедро вознаграждался, очутившись вдруг в прекрасном лесу вместо унылого, обнаженного сада. Огромные деревья заменяли здесь беседку и крытую аллею, зеленая мягкая трава с цветами – сгнившие деревянные скамейки. Тут так всё дышало весело и роскошно, как будто не маленькая река, а целое море разделяло два сада.

Вступив в дом, мы увидим одну из главных комнат, необыкновенно широкую и низенькую, с полом, выкрашенным густо-коричневой краской, с закопченным потолком, с мебелью, в которой каждая вещь свидетельствует давность лет и лишение удобств. Высокие стулья, выкрашенные белой краской, с букетом роз на спинке, с соломенными подушками, привязанными к сиденью, жались плотно друг возле друга, окаймляя стены. Посреди комнаты – обеденный круглый стол с бесчисленными тоненькими ножками, напоминавший огромного окаменелого паука. В углу против окон – массивный флигель в неуклюжем чехле из толстого серого сукна. На желтой закопченной стене – барометр, оправленный в черное дерево. В одном углу помещались стенные часы с пудовыми гирями, которые по огромности своей скорее годились украшать башню рыцарского замка, чем столовую мирного селянина.

Под монотонный стук маятника по комнате ходила женщина пожилых лет, с лицом бледным и суровым. В ее крупных и неправильных чертах было полное отсутствие малейшей нежности. Закинув руки назад, она прохаживалась тяжелою поступью, погруженная в раздумье. Ее полутраурный туалет гармонировал с мрачностью комнаты: он состоял из темного ситцевого капота и бархатной пелеринки с бахромой; за поясом позванивала огромная связка ключей; тюлевый чепчик с темными лентами прикрывал волосы женщины, черные с проседью.

У окна, затянутого серпанкой, сидели девушка и старичок, лицом друг к другу. Противоположность лет резко выказывала молодость, полную жизни, и кроткую старость. Несмотря на совершенно детский туалет девушки, ей смело можно было дать лет шест-

надцать. Ситцевое полинялое светленькое платье с короткими рукавами, которые выказывали полненькие и красивые руки, и беленькая детская пелеринка не могли скрыть пышных плеч. Девушка была причесана *a la chinoise*.¹ Ее слегка волнистые волосы приподняты были кверху, открывая красивый лоб и виски. Коса ее, очень густая, низко спускалась на затылок, на котором вились от природы маленькие пукли. Головка так грациозно была поставлена на ее прекрасных плечах, что невольно обращала на себя внимание. Черты лица были небольшие, исключая глаз – ясных и смелых; а в очертании красивых губ, несмотря на детское еще выражение всего лица, выражалось уже столько энергии, что вы невольно догадывались о силе характера. Гармония господствовала во всей фигуре девушки, начиная с огненных ее глаз до красивых пальцев, которыми она работала бисером на бумаге, – занятие, придуманное для потери зрения.

Старичок был очень маленького роста: он почти весь мог бы усесться в вольтеровских полинялых креслах. Лицо его было кротко, черты мелкие, но, несмотря на дряхлость, сохранившие еще форму. Из-под белого вязаного колпака, которым была покрыта его голова, падали редкие длинные седые волосы и ложились на воротник ситцевого халата. Огромные очки почти закрывали всё его маленькое лицо. На коленях у него лежала книга, а на окне подле него – табакерка и розовый клетчатый платок.

Тишина была томительная кругом в доме; одна только мерно-тяжелая поступь, то заглушаемая боем маятника, то вторившая ему, монотонно раздавалась по залу. Внимательный глаз, однако ж, заметил бы маленькую комедию, которая безмолвно разыгрывалась среди всеобщей тишины. Лишь только высокая женщина поворачивалась спиной к окнам, как девушка отнимала голову от работы и заглядывала за ширмы, стоявшие у окна. Старик делал то же. Они улыбались, глядя в окно; по временам девушка едва сдерживала смех. Но как только высокая женщина доходила до двери против окон и поворачивалась, девушка и старик пугливо обращались к своим занятиям; лица их быстро принимали серьезное выражение.

Внимание старичка и девушки привлекал стоявший у окон в саду высокий мальчик... Впрочем, мальчиком его можно было назвать только по костюму, да еще по гримасам и прыжкам, какие он теперь выделял. Широкие его плечи заключены были в узенькую синюю суконную курточку, рукава которой едва доставали до кисти его мускулистых рук. На отложенный воротничок рубашки падали светло-белокурые длинные волосы. Ростом он был довольно высок и вообще имел вид недоросля. Щеки его горели ярким румянцем, пот катился градом с его открытого лба; но он ничего не замечал и усердно гримасничал и ломался. Однако ж проказам его, которые так занимали старика и девушку, суждено было скоро кончиться.

Высокая женщина случайно, не дойдя до двери, повернула голову и застала врасплох старичка и девушку. Как бы почувствовав устремленные на них зоркие глаза, они оба вздрогнули и склонили головы, один – к книге, другая – к работе. Язвительно улыбнувшись, высокая женщина молча вышла из залы в боковую дверь. Девушка выразительно переглянулась со старичком и робко прислушивалась к стуку двери в соседней комнате, которая выходила на террасу. Через минуту возвратилась в зал высокая женщина; запыхавшись, тащила она за собою проказника, пойманного врасплох в саду, – он неохотно шел за ней, упираясь всем телом. Со всею силой своего высокого роста и могучих плеч она посадила мальчика на стул у флигеля и грозно сказала:

– Я жду, жду его, думаю – еще в классе, а он изволит гримасничать, как фигляр какой-нибудь. – И, с презрительной миной обратясь к старичку, который, как школьник, уткнулся в книгу, она прибавила: – А как вам-то не стыдно?

¹ в китайском стиле (франц.)

Затем, быстро отвернув голову, подошла к девушке, низко склонившей голову над работой, с готовностью принять грозу, уже тяготеющую над ней.

– А вы, сударыня! – воскликнула высокая женщина, дурно скрывая свой гнев и, однако, стараясь придать своему голосу более ровности. – Вспомнили бы, что едите чужой хлеб, носите чужое платье! хоть бы из деликатности, коли в вас нет благодарности, слушались ваших благодетелей. Не зевали бы по окнам, а работали бы.

Изливая таким образом свой гнев, высокая женщина всё ближе и ближе подходила к девушке. Сдерживая ускоренное дыхание, бедная девушка сжала свои губы, на которых как бы блуждала улыбка; щеки ее горели, а дрожащей рукой она ловила бисеринку, которая упорно увертывалась от нее.

Голос высокой женщины всё возвышался, лицо пылало гневом. Она продолжала:

– Я вас проучу, сударыня, я заставлю вас не улыбаться, а плакать, когда вам говорят дело. Взятая из милос...

Но тут она была прервана сильным стуком крышки флигеля и диким криком: то кричал молодой человек, кусая свою руку и подпрыгивая.

Высокая женщина кинулась к нему; в минуту гнев исчез с ее лица, смененный испугом. Она озабоченно смотрела на мальчика, повторяя:

– Всё твои шалости!

И она хотела было дотронуться до его руки; но он дико вскрикнул: «Ай, больно!» – и уклонился.

– Воды холодной и уксусу, скорее, скорее! – отрывисто проговорила высокая женщина, подавая связку ключей девушке, подбежавшей к ней.

Вода и уксус были принесены, и ушибленная рука молодого человека обвязана. Через пять минут он сидел у круглого стола за книгой, а высокая женщина – против него с аршинными спицами, которыми она вязала шерстяной шарф. В комнате воцарилась тишина, нарушенная, впрочем, очень скоро сильным ударом, которым наградил себя в лоб мальчик, преследуя докучливую муху. Неожиданная его выходка рассмешила девушку; но смех ее был приостановлен грозным взглядом высокой женщины и повелительным восклицанием:

– Читай вслух!

Молодой человек повиновался. Но он читал то басом и необыкновенно скоро, то пищал, коверкая немецкие слова (он читал по-немецки) так утомительно, что, кроме высокой женщины, все едва удерживались от смеху. Потеряв терпение, она вырвала у него книгу и, отбросив ее, сказала грозно:

– погоди, голубчик, перестанешь ты у меня тешить ленивицу, дай приехать ему!

Казалось, эта угроза подействовала на шалуна: он оперся на стол руками, затянутыми в узкие и короткие рукава курточки, положил на них голову и стал смиренно глядеть за бегаящими по столу мухами. Все углубились в свои занятия; девушка случайно подняла голову и встретила глазами с молодым человеком: на лицах у обоих, как молния, мелькнул смех; она подавила его кашлем, а он разразился истерическим взрывом хохота.

Высокая женщина и старик вздрогнули; отбросив свое вязанье и сложив руки, первая с недоумением глядела на смеющегося юношу, который зажимал рот больною рукой.

– Чему ты смеешься? – запальчиво спросила она.

Он, вспрыгивая, забарабанил по столу обвязанной рукой.

– А-а-а! у вас, кажется, вся боль прошла от смеху? – сказала язвительно высокая женщина и, освидетельствовав его руку, с сердцем толкнула шалуна к флигелю, проворчав: – Смеет обманывать!

Но он не унимался: сидя за флигелем, он поминутно сморкался и принужденно кашлял, поглядывая искоса на девушку.

– Вы, кажется, сегодня решились меня бесить; но вам не удастся – вон отсюда!! – сказала повелительно высокая женщина.

В голосе ее было столько силы и твердости, что юноша потупил глаза, но, однако ж, не двигался с места.

– Я тебе говорю! – с нетерпением прибавила она.

– Я виноват, больше не буду! – покорным голосом отвечал он и взял аккорд.

– Не хочу слушать ваших извинений! – проговорила более кротким голосом высокая женщина и, повернувшись спиной к флигелю, стала вязать.

Молодой человек играл с большим одушевлением; в его игре видно было также много механического труда. Он разыгрывал одну из сонат Бетховена. Трудно было поверить, что это был тот самый шалун, который за минуту вел себя так детски. Нежные черты его лица приняли задумчивое и печальное выражение. Голубые глаза быстро перебежали от нот к клавишам. Брови его слегка сдвинулись, и вся его фигура возмужала и дышала энергией. Часа два он без умолку играл. Высокая женщина, оставив свое вязанье, неподвижно его слушала. Девушка по временам поглядывала на играющего и на слушающих его, и улыбка блуждала на ее веселом лице. Старичок сладко спал в своих креслах. Заметив, что играющему жарко, высокая женщина глазами приказала девушке открыть окно, у которого она сидела.

Пробило с громом семь часов. Высокая женщина сочла их и ласково произнесла:

– Довольно, Петруша!

Но играющий не обращал внимания на ее слова: он продолжал играть; зато старичок при голосе высокой женщины пугливо проснулся и вопросительно глядел на нее. Она повелительно сказала, обращаясь к девушке:

– Прикажите давать чай!

Играющий остановился, встав из-за флигеля, подошел к высокой женщине и поцеловал ее в плечо. Вся суровость и холодность исчезли с ее лица. Она с любовью расправила взмокшие волосы, прильнувшие к пылающему лбу Петруши.

– Тетенька, – сказал он, – мы будем пить чай на террасе? здесь так душно!

– Да, ты весь в испарине.

И тетка вытерла ему лоб своим платком.

— Ничего! посмотрите, как тихо в саду! – подходя к раскрытому окну, сказал Петруша, и вдруг его лицо приняло прежнее детское выражение; он выбежал из залы, говоря: – Я, тетенька, велю готовить чай на террасе!

Тетка не успела кивнуть головой в знак согласия, как Петруша уже был в саду и неимоверными прыжками пустился бежать по аллее, ведущей к мостику. За несколько шагов он был остановлен криком «Стой!», и девушка, смеясь, выскочила из-за куста.

Они схватились за руки, стали ровно в линию и, переглянувшись, ударили три раза в ладоши, протяжно произнося: «Раз... два... три!» Затем с веселым криком пустились они бежать через мостик в ту часть сада, которую правильнее назвать лесом. Они бежали не переводя духу, поддразнивая друг друга; наконец девушка, обняв руками небольшую тонкую березку, радостно закричала:

– Я первая, я первая!

– Я второй, я второй! – обнимая деревцо, смеясь и подражая голосу девушки, кричал Петруша.

– Ах! потише, Петруша! – сказала девушка и стала оправлять свою слегка помявшуюся пелеринку.

Петруша насмешливо глядел на нее.

– Да вам, кажется, нравится, – продолжала она, – когда ваша тетенька бранит меня, что я скоро пачкаю пелеринки!

– А хорошо я ее надул? – с гордостью спросил Петруша, и, скача с ноги на ногу, он жалобно пищал: – О! больно, больно!

И оба расхохотались.

– Однако пойдем домой: может, уж нас ищут! – пугливо сказала девушка.

И, перейдя мостик, они пошли к дому разными дорожками.

На террасе, у стола, за самоваром, уже сидела высокая женщина, когда девушка подходила к дому. Петруша первый подошел к столу и сел подле сухой фигуры с длинным неподвижным лицом, желтыми жидкими волосами и серыми злыми глазами, быстро бегавшими. Этот человек был так тощ, как будто его готовили для гербариума. Длинная его шея, как пучок проволоки, затянута была в белую пожелтевшую косынку, под цвет его лицу. Старинный синий фрак с медными пуговицами был ему видимо широк; зато нанковые сиреневые узенькие панталоны обрисовывали не только его высохшие ноги, но и голенищи его топорных сапогов. Канареечного цвета жилет дополнял его наряд. То был учитель Петруши. Чахоточная, маленькая, сероватого цвета женщина сидела возле него, робко глядя на всех. Что-то жалкое и страдальческое было в ее фигуре. То была подруга его жизни.

Во время чаю, кроме Петруши да его тетеньки, никто не говорил. По окончании чаю учитель отвесил поклон и удалился; за ним последовала его жена, сделав неловкий реверанс хозяйке. Старичок медленно прохаживался по саду с Петрушей и девушкой, а высокая женщина, сидя на террасе, рассуждала с ключницей.

Глава II

Учитель

Высокая женщина была полная хозяйка в доме своего единственного брата, который был в отсутствии в эту минуту. Он не был вообще домоседом; зато сестра во всю жизнь не более двух раз выезжала из деревни в ближайший город, и то на короткое время. Воспитанная строгой мачехой, которая славилась по всей губернии своим искусством хозяйничать и примерной экономией, Настасья Андреевна (так звали высокую женщину) в четырнадцать лет окончила свое образование. Она не умела читать и писать правильно, зато обладала обширными познаниями в хозяйстве. Она знала все тайны и уловки скотниц и поваров, разные соленья, варенья, делание цукатов и уксусу... впрочем, трудно перечислить, что знала она по хозяйственной части... считала отлично, даже на счетах. В лучшую свою пору она была бы недурна собой; но отсутствие моциона быстро развивало в ней полноту, которая не шла ни к летам девушки, ни к сложению, и без того плотному, да и характер у нее был довольно тяжелый. Для нее не существовали удовольствия молодой девушки. Она не любила даже быть с равными по летам и очень скучала редкими своими выездами. Она была самолюбива, и ее оскорбляло незавидное положение в обществе. Не умея вести разговора с мужчинами, которые изредка к ним приезжали, дурно танцуя, не имея, по скупости мачехи, нарядного туалета, она сделалась равнодушна к удовольствиям своих лет прежде, чем испытала их, и не только полюбила свою незавидную жизнь, но даже не постигала другой жизни вне кладовых и хозяйственных работ, которыми занимали ее с утра до ночи.

Выше всего ставя экономию и умение хозяйничать, мачеха была совершенно довольна апатичным характером Настасьи Андреевны, но считала всё-таки нелишним ежедневно читать ей наставления касательно бережливости и т. п. Старуха видела в падчерице залогой хорошей хозяйки и внутренне радовалась им, но ворчала, по привычке, «что она своей щедростью сделает ее нищей».

Мать Настасьи Андреевны умерла при самом рождении дочери. Отец женился во второй раз и через год тоже умер, оставив вторую жену полной распорядительницей имения до совершеннолетия детей. Всё в доме изменилось, и скупой характер мачехи не замедлил проявиться.

Оставшись вдовой, опекуной двух малолетних детей, она с помощью бережливости привела расстроенное их имение в цветущее состояние, но зато страшно высохла душой. Никакие чувства вне хозяйственного интереса не существовали для нее, и она ревновала свою падчерицу, как страстно любящая женщина, ко всему, кроме хозяйства. Девушке строго воспрещены были чтение и музыка, к которой она оказывала большое расположение, – единственная склонность, какую в ней замечали. Но старуха видела в музыке явный подрыв своему благосостоянию, и только в редкие свободные часы дозволялось Настасье Андреевне садиться за избитые пятиоктавные клавикорды. Безжизненное, холодное лицо Настасьи Андреевны одушевлялось, небольшие глаза ярко горели, если ей случалось по слуху разыграть какой-нибудь вальс или романс.

Брат Настасьи Андреевны был старше сестры только годом; но молчаливый, серьезный характер делал его старым не по годам. Он также весь предан был хозяйственным делам – ходил в молотильню, на мельницу, по конюшням и мог заменить искусного управляющего по своей распорядительности и строгости. Между братом и сестрой не существовало дружбы, даже подобия этого чувства. Впрочем, тому много способствовало их воспитание. Едва Настасья Андреевна начала помнить себя, как ей приказано было брату своему говорить «вы» и слушаться его во всем. Играть им не позволялось ни вместе, ни порознь. Всё развлечение их состояло в соревновании – кто скорее и вернее вычислит или сложит ту

или другую арифметическую задачу. К тому же зависть, так свойственная в детях к похвалам родных, много охлаждала их. И надо сознаться, что старуха с необыкновенным искусством умела поджигать рвение их к хозяйству. С тонким расчетом хвалила она то одного, то другую гостей своим, высчитывая их экономические подвиги.

Однако, как ни откладывалось воспитание сына, но наконец мачеха увидела, что оно необходимо. Она стала приискивать гувернера. Судьба, казалось, заботилась о скупой старухе. За самую незначительную сумму взялся приготовить мальчика молодой и очень образованный иностранец. Вот как было дело. Богатый сосед, возвратись из-за границы, привез с собой молодого человека родом из Германии. Помещику нравились восторженность его характера, его громадные надежды на будущее, которыми он жил, не заботясь о настоящем. Познакомясь с ним за границей, богатый барин привез его в деревню больше для компании, чем для управления своим оркестром. Но, идеалист по натуре, немец ничего не видел: он думал, что страсть к музыке скрепила их узы, и только глубокий сон, в который погружался иногда его меценат среди концерта, смущал мечтателя. Дирижируя деревенским оркестром, он воображал, что занимает столько же важный пост, как шеф какого-нибудь европейского оркестра, и, садясь за фортепиано играть перед дремлющим своим меценатом, дрожал и менялся в лице, будто тысячи дилетантов собрались слушать его. Немец имел несчастную слабость, свойственную многим, – придавать излишнюю важность тому, чем занимался. Самолюбие было причиною тому, а может быть, и страсть к искусству. Некоторые странности и неровности в характере мецената с избытком выкупались привольною жизнью. Немец прожил так с полгода, как вдруг совершенно неожиданно покровитель его упал со стула и покончил дни свои. Удар был двойной. Немец очутился без гроша денег и в чужой земле. Разделив инструменты по равной части, наследники не обратили внимания на несчастного распорядителя их, который принужден был приютиться из милости у старого управляющего. Чужой хлеб горек, и как только открылось первое место, немец с радостью взял его. Нужда заставила его избрать другой путь: вместо композитора и капельмейстера, он сделался гувернером у скупой и сварливой старухи. Но, поступив к ней в качестве учителя, он не мог отказаться от своих мечтаний. Заметив расположение к музыке в Настасье Андреевне, учитель стал заниматься с ней. Расчет победил в старухе нелюбовь к музыке, и она очень обрадовалась, что даром обойдется музыкальное образование падчерицы. Там, где другой увидел бы только способность к музыке, восторженный немец провидел нечто необыкновенное. Ему вообразилось, что судьба призвала его к завидному подвигу – образовать будущую знаменитость. Невеселая его жизнь у старухи приняла характер, полный интереса, и когда приходила ему мысль переменить место, совесть останавливала его: он боялся погубить талант, который действительно был в Настасье Андреевне.

Избитые пятиоктавные клавикорды терзали учителя: он потребовал другие, угрожая в противном случае прекратить музыкальные уроки. Но скупую старуху нисколько не испугала такая угроза; она даже обрадовалась, потому что Настасья Андреевна, слишком ревностно занимаясь музыкой, делала иногда упущения по хозяйству. Видя, что угрозы не действуют, учитель сделал старухе следующее предложение: купить флигель пополам; но как у него не было денег, то предоставлялось ей право вычитать из его жалованья; если же он отойдет, то флигель остается ей.

Не скоро решилась старуха на такое выгодное предложение; но когда привезли флигель, она не могла налюбоваться им, облекла его в серый суконный чехол и объявила, что позволяет играть на нем не более одного раза в неделю – по воскресеньям.

Немец страшно рассердился и отвечал, что вносит свою сумму на том же условии: флигель останется ей, когда он отойдет, лишь бы теперь им пользоваться. Страх потерять дешевого учителя заставил старуху согласиться, и флигель был перенесен из зала в классную, возле комнаты учителя и его ученицы. Тут только началось серьезное ученье. Так как

днем мало было времени у Настасьи Андреевны, то она занималась музыкой по ночам, как только старуха ложилась спать и отпускала ее.

Прошло два года. Настасья Андреевна сделалась совершеннолетней девицей. Она говорила довольно развязно по-немецки; полнота ее исчезла, черты лица стали помельче и понежнее; в глазах появился блеск; вся фигура как будто переродилась, ожила. Ее начали огорчать и доводить до слез упреки старухи в расточительности, которая, впрочем, была совершенно вымышленная, и если в чем проявлялась, так разве в лишнем куске сахара, положенном в стакан учителю.

Брат Настасьи Андреевны учился лениво, потому что внимание и все способности его были настроены к предметам коммерческим и хозяйственным. Он скупал мед, перепродавал его, жил на полях в рабочую пору, – словом, ему было не до книг. Но мачеха благоразумно рассуждала, что деревенская деятельность не может принести значительных выгод его жизни, и стала готовить сына в полк. Эта весть как громом поразила учителя. Он ужаснулся при мысли, что должен бросить свои надежды, которые успели уже пустить глубокие корни в его мечтательном сердце. Немец возмечтал создать из своей ученицы знаменитую виртуозку... и сколько славы, сколько радостных и высоких волнений обещало ему будущее! Часто, строя свои воздушные замки, он уже видел огромную, ярко освещенную залу, полную публикой. Он подводит к роялю свою ученицу – ее встречают рукоплесканиями. Она играет – ее слушают с восторгом; она кончила – зала потрясается криками; их вызывают обоих, забрасывают букетами! На другой день газеты наполнены похвалами ему и его ученице. Его жертвы, борьба, труды – всё, всё вычислено. Подобным мечтам не было конца в непрактической голове учителя. В вечном деревенском однообразии, среди вечных мелочей узкой и бедной жизни Настасья Андреевна была его будущее, его слава. И нелегко было ему вдруг расстаться с мечтами, которые он лелеял и развивал целые четыре года!

Но еще тяжелее отразилась роковая весть в сердце Настасьи Андреевны: она приняла ее, будто весть о близкой смерти своей. В первый раз в жизни она всю ночь металась в постели без сна, горько-горько рыдая. Встав утром, она почувствовала тягость, даже отвращение бежать в кладовые, выдавать повару провизию весом и мерой; однако привычка была так сильна, что она выполнила свои обязанности аккуратно и в положенный час сидела перед самоваром. Старуха заметила волнение и недавние слезы падчерицы, но промолчала, может быть приписав их разлуке с братом. Днем, за хлопотами, Настасья Андреевна не успела даже поговорить с учителем; зато когда старуха легла спать, она до усталости играла под руководством грустного своего учителя. Они оба молчали о предстоящей им разлуке, как бы страшась ускорить ее.

Настасья Андреевна сделалась рассеянна. Старуху страшно испугала такая перемена. Она удвоила свою строгость и стала подвергать падчерицу неожиданным экзаменам: вдруг поручала ей вынуть из сундука штуку холста, вытканную таким-то ткачом в таком-то году, давала ей огромную связку ключей и сама следовала за нею. Если падчерица ошибалась и отпирала не тот сундук (а их было до двадцати), то получала жестокий выговор.

День отъезда приближался; накануне его учитель и Настасья Андреевна часов в десять вечера, когда все улеглись спать, сели за флигель. Учитель просил ее сыграть любимую его сонату Бетховена, потом сам играл ее, и они не заметили, как настала ночь, о которой извещил их бой часов внизу. Учитель встал из-за флигеля, начал что-то говорить, но не мог: так сильно было его волнение. Он поклонился низко Настасье Андреевне и вышел. Настасья Андреевна, бледная и дрожащая, с потупленными глазами, несколько минут стояла неподвижно, потом села к роялю, прильнула головой к нотам и долго-долго оставалась так. Когда она приподняла голову, отчаяние разлито было на ее бледном лице. Машинально и тихо одной рукой перебирала она клавиши, потом стала играть громче и громче; щеки ее запылали, грудь высоко поднималась; а слезы, увлажив ее глаза, придавали ей вид вдохновенный.

Она играла свое сочинение и так увлеклась игрой, что не замечала встревоженной и бледной фигуры своего учителя, который сначала слушал тихонько у дверей, потом стал приближаться и наконец очутился у стула своей ученицы. Лицо девушки, быстро изменяясь, выражало то восторг, то отчаяние. Почувствовав присутствие учителя, она вскрикнула и закрыла свое пылающее лицо руками.

– О, продолжайте, продолжайте! прекрасно, прекрасно!.. Боже мой, и я должен ее оставить! – заговорил учитель с сильным одушевлением. – Есть, – продолжал он, дрожа всем телом, – есть две ошибки в вашем сочинении. Сыграйте еще раз!

Настасья Андреевна молчала.

– Где ноты, где! покажите мне их! – нетерпеливо твердил учитель.

Настасья Андреевна радостно улыбнулась, отняв руки от лица, и робко спросила:

– Вам нравится?

– Повторите скорее!

Ученица поспешно обратилась к клавишам. По окончании игры учитель забежал по комнате, ломая руки и говоря с отчаянием:

– И я должен оставить ее без всякого руководства!.. нет, я не могу, не вынесу, – это невозможно!

И, обратись к Настасье Андреевне, он протянул ей руку. Ученица пугливо смотрела на учителя и, с пылающим лицом, робко, нескоро подала ему свою руку, которую он с жаром поцеловал. Настасья Андреевна вся вспыхнула и быстро села на стул, в волнении осматриваясь кругом. Учитель ничего не замечал; он с жаром говорил:

– Я отдам всё, я соглашусь на всё, чтобы остаться при вас!

Настасья Андреевна вскочила со стула, в недоумении глядя на учителя, который продолжал:

– За самую ничтожную плату я соглашусь...

При этих словах Настасья Андреевна горько зарыдала.

– Не плачьте, не горюйте, если любовь ваша сильна...

Настасья Андреевна замолчала и подняла гордо голову.

Учитель продолжал:

– Повторяю вам, если ваша любовь к музыке сильна, употребите всё, всё, только не бросайте, не бросайте ее!

И учитель сложил руки, будто прося пощадить его жизнь. В лице Настасьи Андреевны выразилось прежнее недоумение.

– Надо, надо ей ехать за границу! – говорил он, рассуждая с самим собой. – Она рождена быть артисткой, у ней все заложено великой будущности... О, поезжайте, поезжайте! не губите своего таланта!

Он чуть не плакал, произнося последние слова. Настасья Андреевна ничего не понимала.

– Куда ехать? – пугливо спросила она.

– Боже мой! за границу.

Настасье Андреевне вдруг показалось в темном углу строгое лицо мачехи, вооруженной связкою ключей. Она покачала головой.

– Просите, умоляйте ее! – сказал учитель.

– Я... я не смею! – грустно и решительно ответила Настасья Андреевна.

Учитель замолчал, печально повесив голову на грудь. Долго они просидели молча. Он первый прервал молчание, сказав:

– Я надеюсь, я даже уверен, что мы еще будем продолжать наши уроки. Я иначе не возьму места, как по соседству вас, с условием, чтоб я мог хоть раз в неделю, хоть раз в месяц приезжать к вам.

– Неужели... да будет ли возможно? – радостно заметила Настасья Андреевна.

– Я всё употреблю; но самое лучшее, если бы...

Учитель тяжело вздохнул и тихо продолжал:

– Если бы ваша мачеха согласилась взять меня хоть в управляющие.

На лице Настасьи Андреевны показался испуг, и она потупила глаза.

– Я на всё согласился бы!.. – продолжал учитель, вопросительно глядя на нее.

Она не знала, куда деться, не смела поднять глаз. Учитель молчал.

На лице Настасьи Андреевны выражалось страшное волнение; она, казалось, хотела что-то сказать, но не решалась.

Время между тем шло, свечи давно догорели, и дневной свет освещал комнату. Опомнясь, она с ужасом вскрикнула:

– Боже, уж светло!

– Да, пора укладываться! – печально сказал учитель и медленно вышел.

Настасья Андреевна как прикованная осталась на своем месте. Учитель скоро возвратился, таща запыленную корзину, наполненную нотами. Поставив ее у ног своей ученицы, он сказал дрожащим голосом:

– Вот всё, что я могу оставить вам. Флигель принадлежит вашей мачехе. Прощайте!

Настасья Андреевна страшно побледнела и сжала свои губы, как будто стараясь удержать стон.

– Ах! – сказал учитель. – У меня есть еще одна вещь, которую я, кроме вас, никому, никому не отдал бы!

И он поспешно вышел.

Настасья Андреевна склонила голову на подушку дивана, и из ее груди вырвался стон; но учитель опять вошел в комнату, и она собрала все свои силы, чтоб казаться спокойною.

Учитель подал ей нотный лист с поправками, обделанный в рамку под стеклом. То был факсимиль Бетховена.

Настасья Андреевна не решалась брать: она знала, как дорожил им учитель.

– Возьмите, возьмите! – сказал он. – Вы имеете право иметь его.

Она радостно взяла листок и глазами поблагодарила его, потом робко вынула из кармана нотный листок, тоже исписанный, но весьма тщательно, и, вспыхнув, сказала, подавая его учителю:

– А я... я сочинила прощальный вальс...

Учитель быстро бросился с нотным листком к флигелю и стал его разыгрывать, по временам делая поправки карандашом. Потом он пригласил ее играть в четыре руки (так был написан вальс). Они повторяли его раз десять; учитель хвалил его. Настасья Андреевна была счастлива.

Солнце взошло и осветило утомленные лица играющих. Горничная Настасьи Андреевны вошла в комнату и пугливо сказала:

– Барышня, барыня встает!

Настасья Андреевна вздрогнула, выскочила из-за флигеля, но в ту же минуту опять села и покойно сказала:

– Хорошо!

Горничная вышла.

– На вас будут сердиться: идите! – заботливо заметил учитель.

– Пусть сердятся! – холодно отвечала Настасья Андреевна и с отчаянием прибавила: – Может быть, в последний раз мы играем...

И она поспешила заглушить эти слова громким аккордом.

Горничная опять вошла в комнату, сказав:

– Барыня вас зовет!

– Иду! – твердо отвечала Настасья Андреевна.

И, дождавшись, когда горничная вышла, она схватила руку учителя, с чувством пожалала ее и выбежала из комнаты.

Настасья Андреевна была встречена строгим и пытливым взглядом старухи, за которым следовал вопрос:

– Что это значит? вас нужно ждать!

Настасья Андреевна молчала.

– Всё ли готово для вашего брата? – оглядывая ее с ног до головы, тем же тоном спросила старуха.

– Еще с вечера всё было уложено, – отвечала Настасья Андреевна.

– Отчего же вы опоздали к чаю?.. – спросила старуха таким тоном, что Настасья Андреевна побледнела.

Приход учителя и брата прекратил тяжелую сцену. Настасья Андреевна занялась чаем.

За минуту до отъезда молодого барина дворня явилась в залу прощаться с ним. Старуха в слезах благословила сына и прочла ему наставление, которое заключилось поцелуями, длившимися с четверть часа.

Когда Настасья Андреевна стала прощаться с братом, которого она в первый раз теперь поцеловала, ей сделалось так грустно, так грустно, что она горько заплакала. Казалось, чувство, столь естественное между братом и сестрой, только теперь пробудилось в ней. Но слезы вдруг высохли, сердце замерло, дыхание стеснилось в груди – при грустных словах: «Прощайте, Настасья Андреевна!», произнесенных учителем; бедной девушке стало так тяжело, так страшно, что она готова была вскрикнуть; но и голос замер. В ту же минуту она вздрогнула, застигнутая пристальным взглядом старухи; поспешно и холодно простилась она с своим учителем.

На крыльце было новое прощанье, новые слезы. Наконец под общий крик «Прощайте» экипаж двинулся со двора.

Настасья Андреевна, не обращая внимания ни на кого, полными слез глазами следила за удалявшимися, и когда ничего не было видно, она с рыданием убежала в свою комнату. Ее позвали вниз, к мачехе. Старуха лежала уже в постели и болезненным голосом сказала ей:

– Вы уж даже не хотите побыть при мне, тогда как я убита разлукой с ним!

– У меня болит голова! – отвечала Настасья Андреевна.

– Голова болит?? – насмешливо заметила старуха и строго продолжала: – А я вся больна, вся убита горем!

Настасья Андреевна села у постели. Старуха охала, морщилась, поминутно подносила платок к глазам. Наконец она прервала молчание и печально сказала:

– Теперь наши едут, бедненькие; я думаю, тоже горюют, как и мы. А-а, ох!

И она тяжело вздохнула, продолжая всё тем же ласково-печальным голосом:

– Книги в целости сдал Эдуард Карлыч? а?

Да-с! – отвечала Настасья Андреевна и страшно смешалась: то была ее первая ложь.

– Признаться, мне жаль было расставаться с Эдуардом Карлычем: он честный человек.

Настасья Андреевна в недоумении посмотрела на старуху: в первый раз она слышала похвалу учителю, которого старуха обыкновенно называла расточителем.

Разговор опять остановился; старуха прервала его следующими словами:

– Куда-то он, бедненький, денется? есть ли у него место?..

Настасья Андреевна быстро отвечала:

– У него нет места; он просил...

Она не могла закончить своей фразы; губы у ней задрожали, и, объятая ужасом, она привстала со стула, глядя на старуху, которая медленно приподымала голову с подушек и

язвительно улыбалась; за улыбкой следовал тихий смех, окончательно оледенивший Настасью Андреевну.

Старуха встала с постели и повелительным жестом указала ей на дверь.

У Настасьи Андреевны подкосились колени; она упала к ногам старухи, которая холодно и с презрением сказала:

– Я вас видеть не хочу!

И опять указала на дверь.

Настасья Андреевна сделала умоляющий жест, но, встретив неумолимо холодные глаза мачехи, с трепетом вышла из комнаты.

С того вечера в продолжение целого месяца Настасья Андреевна не слыхала слова от своей мачехи, – и между тем находилась постоянно при ней. Прощаясь, здороваясь, она брала руку старухи, чтоб поцеловать ее; но всякий раз старуха с сердцем выдергивала свою жесткую руку. Гнев мачехи приводил бедную девушку в отчаяние; она чувствовала невыносимую тоску, худела с каждым днем, наконец слегла в постель. Болезнь падчерицы смягчила старуху, тем более что некому было заниматься хозяйством: выдавать провизию, записывать каждую крошку и вести счетные книги; боль в ногах лишала ее возможности самой всюду присутствовать. Старуха пришла наверх и позволила падчерице поцеловать свою руку, которую Настасья Андреевна облила горькими, нервическими слезами. Болезнь продолжалась с неделю. Настасья Андреевна, еще слабая, встала с постели, полная рвением скорее приступить к выполнению своих обязанностей по хозяйству. Мачеха вздохнула свободнее, и грифельная доска, висевшая у ее постели, каждый день исписывалась двойным числом приказаний, которые падчерице следовало исполнить по хозяйству в течение дня.

Вечером обыкновенно старуха ложилась в постель, а Настасья Андреевна садилась к столу и под диктовку писала счета расхода и прихода.

Раз вечером, погруженные в такое занятие, они заслышали вдали звук дорожного колокольчика. Была осень, и очень дождливая; к тому же и час уже довольно поздний; трудно было предположить гостей, которые, впрочем, иначе не ездили к ним, как в торжественные дни. Однако ж колокольчик всё приближался. Настасья Андреевна превратилась в слух, а старуха в недоумении говорила:

– Кто бы мог быть?

Когда звук колокольчика замер у ворот, Настасья Андреевна вся вспыхнула, выскочила из-за стола и бросилась из комнаты, преследуемая удивленными глазами мачехи. Но Настасье Андреевне было не до того: она всё забыла. Сердце ее билось с такой силой, что она не могла дышать; слезы душили ее. Она не понимала, что с ней делается, а между тем переживала минуту, может быть, самую счастливую в своей жизни. Забыв свою робость, с силою сжала она руку учителя, встреченного в прихожей; он отвечал ей таким же пожатием.

Гость был принят хозяйкой вежливо, даже излишне любезно, так что ему в тот вечер не осталось времени поговорить с Настасьей Андреевной, которая не переставала улыбаться и жадно ловила каждое слово учителя. После ужина он пошел спать, а Настасья Андреевна долго еще была задержана старухой, которая очень ласково разговаривала с ней...

Когда Настасья Андреевна вошла в свою мрачную комнату, в которой свободно могла предаться своей радости, она в первый раз в жизни запрыгала, запела, кинулась к комоду, стала доставать бедные свои наряды. Ей хотелось быть завтра лучше, красивее. Но из страха она не решилась выбрать платья понаряднее и только чистым рюшем обшила ворот того же платья, которое носила в обыкновенные дни. Ложась в постель, она так была счастлива, что всё прежнее горе казалось ей сном. Долго она не спала, мечтая о завтрашнем дне.

Рано утром она была пробуждена легким звуком привязанного колокольчика под своим окном, которое было над крыльцом. Невольно вскочила она с постели и кинулась к окну. Ужас изобразился на ее лице; она дико глядела на телегу, в которую усаживался учитель,

плотно закутанный в шинель. Утро было туманное и холодное, осенний мелкий дождь поросил в воздухе. Настасья Андреевна, забыв всякую предосторожность, раскрыла форточку и, высунувшись из нее, хотела кричать; но голосу у ней не достало. Телега тронулась, и Настасья Андреевна в отчаянии бросилась к двери, забыв, что она в ночном туалете. На пороге, лицом к лицу, она столкнулась с мачехой, которая, загородив ей дорогу, строго спросила:

– Куда?

Настасья Андреевна молчала и глядела такими странными глазами, как будто перед ней стояла женщина, которую она в первый раз видела.

– Выпей воды и сядь! – повелительно сказала старуха.

И, взяв Настасью Андреевну за руку, привела к постели, на которую взволнованная девушка упала без чувств.

Опомнясь, Настасья Андреевна открыла глаза и увидела свою мачеху, сидевшую возле нее. Старуха холодно спросила:

– Лучше ли тебе?

– Да-с, – пробормотала Настасья Андреевна.

– Останься в постели! – строго заметила старуха и встала, готовая идти.

Ужас овладел Настасьей Андреевной при мысли, что она узнала тайну ее сердца; она вскочила с постели и, ухватясь за колени мачехи и целуя их, умоляющим голосом закричала:

– Маменька, маменька!

– Что это за сцены? – грозно и пугливо сказала старуха.

– Я виновата! – рыдая, отвечала Настасья Андреевна.

– Знаю, знаю, ты больше его не увидишь.

Настасья Андреевна вскрикнула и закрыла лицо руками.

– Вот до чего довела твоя ветреность!

– О, боюсь вам, боюсь, он даже не знает! – ломая руки, вскрикнула Настасья Андреевна.

– Замолчите! – строго прервала ее мачеха и быстро пошла к двери, сказав: – Вы знаете мое мнение о таких девицах!..

И она вышла, оставив свою падчерицу посреди комнаты, на коленях, убитую стыдом и страхом.

Настасья Андреевна долго хворала. Как только она стала поправляться, мачеха объявила ей, что за нее сватается их сосед, и спросила, желает ли она выйти за него.

Настасья Андреевна решительным голосом отвечала:

– Нет.

– Почему? – спросила старуха, сопровождая свой вопрос таким взглядом, что Настасья Андреевна долго стояла потупив глаза; когда она приподняла голову, в лице ее столько было страдания и решимости, что мачеха торопливо сказала:

– Ну, что же?

– Я прошу одного – позвольте мне навсегда остаться при вас; я ни за кого не пойду замуж.

– Это твое твердое намерение?

– Да! – тяжело вздохнув, отвечала Настасья Андреевна.

– Хорошо! я не буду тебя принуждать. Но помни свои слова. Я их не забуду! – торжественно произнесла старуха.

И с этого дня обхождение ее с Настасьей Андреевной сделалось прежнее. Это воскресило Настасью Андреевну; она удвоила свое старание и заботы по хозяйству. Дав обещание не выходить замуж, Настасья Андреевна сделалась разом как бы пожилой женщиной. Наружность ее приняла характер холодный, даже суровый. Она стала взыскательна, даже строга с людьми. Улыбка не оживляла ее лица; в минуты, когда она долго оставалась за фли-

гелем, черты ее смягчались и как бы слезы увлажжали ее глаза; но потом, и очень скоро, лицо ее снова принимало ледяное выражение, которое с годами сделалось в нем почти постоянным.

Глава III

Приемыш

Прошло несколько лет. Настасья Андреевна превратилась не только в зрелую, но даже и сварливую деву. Бережливость и экономию ее можно было назвать скупостью, требовательность порядка – сварливостью. Казалось, дряхлая мачеха оживала во всем блеске в своей падчерице.

Жизнь их не отличалась разнообразием. Казалось, они жили в степи: даже самые близкие соседи не заглядывали к ним. Кроме уездного доктора да приходского священника, других гостей не знала Настасья Андреевна. Врат Настасьи Андреевны, Федор Андреич, изредка приезжал в отпуск повидаться со старухой и с сестрой; но посещения его, при всей любви к нему, мало доставляли радости бедной девушке. Характер его был молчалив и взыскателен; суровость в минуты гнева доходила до крайней степени. Только хлопоты увеличивались: надо было угодить брату, любившему хорошо покушать, и скупой старухе, не любившей лишних издержек. Никогда не допустила бы она и малейшей роскоши, если б не боялась Федора Андреича, который был уже совершеннолетний и мог сам распоряжаться имением своего отца, потребовав отчета у опекуны. К счастью, посещения его были так редки, что строгий порядок не мог поколебаться в доме. По целым годам подушки дивана в гостиной не знали прикосновения человеческой руки; равно и губы хозяек, казалось, забыли о существовании улыбки. Каждая неодушевленная вещь вместе с владельницами преждевременно старелась.

Наконец случилось следующее происшествие.

В одно зимнее утро Настасья Андреевна, закутанная в кацавейку, обшитую мехом, в подобие горноста, в капоре и теплых больших сапогах, расхаживала по двору с несколькими дворовыми лицами, обзревая кладовые и амбары. У ворот остановились салазки, запряженные тощей клячей; в них сидела женщина в тулупе с ребенком на руках. Появление каждого нового лица, даже из крестьян, было событием в доме. Неудивительно, что Настасья Андреевна тотчас послала ключницу спросить, кого и чего надо приехавшей женщине. Вместо всякого ответа, женщина развязала свой тулуп и поставила на ноги трехлетнего окутанного ребенка, потом сунула в его маленькие красные, как гусиные лапы, ручонки письмо, нагревшееся у ней на груди, двумя пальцами захватила красненький носик малютки; наконец перекрестила его и, подтолкнув на узенькую тропинку, перерезывавшую наискось двор, сказала ему:

– Ну, Петруша, с богом, в ножки, да не забудь, как учила!

Мальчик побежал; верно, ноги его озябли; он падал, но, поощряемый криками женщины, быстро вставал и продолжал бежать. Наконец силы его ослабли; упав в третий раз, он заплакал и не поднимался.

Настасья Андреевна подошла к ребенку, подняла его и взяла на руки. Ребенок, обвинив холодными своими ручонками шею Настасьи Андреевны, внятно сказал:

– Моя матушка умерла! – И в ту же минуту прибавил, смотря на ее руку: – Дай же ляле! Это тронуло и заинтересовало Настасью Андреевну; она подозвала женщину.

С низким поклоном женщина подала ей письмо, выпавшее из рук ребенка. Лишь только Настасья Андреевна увидела адрес, всё лицо у ней вспыхнуло. Она с удивлением оглядела ребенка, который прилежно рассматривал ее меховой воротник и, боязливо дотрагиваясь до него пальцем, повторял вопросительно:

– Кыса?! кыса?..

Настасья Андреевна поставила его на землю и начала читать письмо. Руки у ней дрожали, лицо горело. Дворня с напряженным любопытством следила за ней. Настасья Андреевна быстро надвинула капор на глаза и, не смотря в лицо ключнице, сказала:

– Отведите ее в застольную, а ребенка напоите чаем!

И она быстро пошла было к дому, забыв даже запереть кладовую, двери которой стояли настежь. Люди переглянулись, и глаза их устремились к кладовой, как будто они надеялись в ней найти разгадку тайны. Настасья Андреевна, однако, вернулась, но не затем, чтоб запереть кладовую: она взяла на руки ребенка и что-то тихо сказала принесшей его женщине, которая начала креститься и кланяться вслед удалявшейся барышне.

Ребенок остался не только в доме, но даже в комнате Настасьи Андреевны, которая долго не говорила о нем мачехе и только наконец в день своего рождения в первый раз свела его вниз. Но сухое сердце старухи не оживил и не обрадовал веселый смех ребенка. Она долго не соглашалась взять трехлетнего приемыша, страшась расходов, которые казались ей огромными. Но, увидя слезы Настасьи Андреевны и в первый раз услышав упреки, наконец позволила ребенку прикоснуться алыми губками и своей руке. С того дня Петруша сделался членом семейства. Настасья Андреевна заменила ему заботливую няньку и нежную мать. Она обшивала его сама, сама одевала, словно боясь, чтоб прикосновение другой руки не испортило его; горничные пожимали плечами, замечая, как иногда Настасья Андреевна бегала и пряталась, играя с Петрушей. Как приемыш Петруша пользовался положением исключительным. Все в доме любили его, как отвод гнева Настасьи Андреевны, и притом никому не доставалось за него, потому что он вечно был с Настасьей Андреевной, которую называл тетенькой. Под защитою ее Петруша рос весело. Федора Андреича он видел раз в год, приезжавшего повидаться с родными, и был для него совершенно чужим. Петруша любил и знал одну только Настасью Андреевну, которая гордилась этим и ревновала его ко всем, кому он оказывал расположение.

С самых ранних лет и первой наукой Петруши была музыка. Ложась спать, он горько плакал, если Настасья Андреевна не убаюкивала его своей игрой: музыка заменяла ему монотонное убаюкиванье и покачиванье колыбели.

Старуха мачеха видимо дряхлела и наконец, прохворав довольно долго, умерла, распрядившись, чтобы на будущую стирку выдали мыла полуфунтом менее, потому что весеннее солнце помогает белить. (То были последние слова скупой домоводки.)

Настасья Андреевна, оплавав старуху чистосердечными слезами, стала полной хозяйкой дома и своих действий. Но последнее было излишне в настоящую минуту. Она разучилась желать и действовать независимо, по собственному побуждению. И, не получая более хорошо знакомых выговоров и наставлений, она искренно грустила, чувствовала пустоту. Единственной целью остальной ее жизни сделался приемыш, достигший уже того возраста, когда серьезно нужно было думать об его воспитании.

После смерти мачехи Настасья Андреевна получила до ста тысяч, накопленных старухой и отказанных ей по духовному завещанию; кроме того, ей следовала седьмая часть из имения. Но она не взяла ничего, предоставив всё брату, с одним условием, чтоб он не лишал Петрушу своей любви и попечений. Федор Андреич согласился на такое условие с особенной охотою: в то время он брал значительный подряд. Дом и деревня по-прежнему остались под присмотром Настасьи Андреевны. Хотя Федор Андреич вышел в отставку и переехал в деревню, но частые отлучки не позволяли ему входить в хозяйственные распоряжения. Да и не к чему было: Настасья Андреевна заменяла ему самого отчетливого управляющего и самую аккуратную ключницу.

Характер Федора Андреича имел очень много родственного с характером покойной мачехи; в нем не было только мелкой скупости, но эгоизм еще больше; на свои прихоти он не жалел денег. Со смертью мачехи, число знакомых, ездивших к ним, не увеличилось:

Федор Андреич, как и покойная старуха, не находил удовольствия в обществе. Вообще он был молчалив, равнодушно холоден с домашними и при случае очень взыскателен; особенно опасно было пренебрегать его привычками, которые играли важную роль в его характере: казалось, он ел, пил и спал по одной привычке; при нарушении их холодное равнодушие сменялось горячностью, переходившею в тяжелый, продолжительный гнев, который обрушивался равно на виновных и невинных.

Настасья Андреевна без ропота выносила незаслуженный гнев брата. Она слишком хорошо была приготовлена к покорности. Впрочем, Федор Андреич вел жизнь кочующую; положительные причины тому не были известны сестре: он упорно молчал о своих делах. Как отъезд, так и приезд его были всегда неожиданны. Случалось, что он уезжал в ночь, не простясь с домашними, и находился в отлучке по несколько месяцев. Писем Федор Андреич не имел привычки писать и также не изъявлял желания их получать. Часто Настасья Андреевна не знала, в какой части России находится брат. При возвращении в деревню и свидании с домашними он не обнаруживал своих чувств ни словом, ни движением, встречал сестру и приемыша, как будто накануне их видел, целовал их, говорил «здравствуйте» и мало любопытствовал знать, что они делали и как жили без него, а о себе рассказывал еще менее.

Поздоровавшись, Федор Андреич тотчас обращался к делам по деревне и счетам, которые подавала ему сестра на разграфированной бумаге, как самый аккуратный управляющий.

Сначала Настасья Андреевна, по сильной своей привязанности к приемышу, боялась, не женился бы брат; но Федор Андреич так мало обращал внимания вообще на женщин, что она скоро совершенно успокоилась.

Теперь нам следует познакомиться с остальными лицами, которых мы видели в первой главе.

Глава IV

Еще благодеяние

Однажды, после продолжительного своего отсутствия, Федор Андреич возвратился в деревню в сопровождении шестидесятилетнего старика и миловидной молоденькой девушки. Обстоятельства, которые привели в его дом старина и девочку, доказывают, что и его сердце не было чуждо доброты. Вот они. Во время пребывания по делам в Москве, Федору Андреичу случилось отдавать последний долг одному из своих коротких знакомых. Похорон были пышные, с балдахином, со множеством факельщиков и с бесконечно длинной тропинкой ельнику. Не без громких криков и всхлипываний густая толпа, вся в черном, торжественно шла за бархатным гробом; за ней тянулась бесконечно длинная вереница экипажей. Много тут было и притворно и искренно грустных лиц; но фигура Федора Андреича особенно шла к печальной процессии. Он шел, нахмутив брови и потупив глаза: то было его обычное выражение; он имел привычку на ходу обдумывать свои дела.

Погруженный в свои размышления, Федор Андреич не заметил, что уже приближался к кладбищу. Грубый голос женщины вывел его из задумчивости:

– Ну куда вы, озорники, лезете? не до вечера же нам с покойником, стоять здесь!

Федор Андреич поднял голову и очень удивился, увидав, что идет за гробом из простого дерева; гроб выкрашен желтой краской, пышного балдахина нет, – гроб стоит открыто на простых дрогах. Федор Андреич не мог понять, как случилось такое превращение, а между тем оно было очень просто. Идя в задумчивости, он поотстал от толпы, потом машинально дал дорогу бедному гробу. Но узкость улицы не позволяла ехать этому гробу рядом с богатым, он отстал, а экипажи не хотели пустить его вперед, за что женщина, сопровождавшая гроб, горячо перебранивалась с кучерами.

Федор Андреич так был поражен превращением богатого гроба в бедный, что не скоро обратил внимание на другую женскую фигуру, припавшую к гробу. Эта фигура была вся в трауре, и рыдания ее были тихи, но невольно трогали. Федору Андреичу стало досадно: он не любил видеть горе, даже такое, которому мог пособить. И, чтоб скорей избавиться неприятного зрелища, он присоединился к крикливой женщине, приказывая кучерам дать место проехать. Заслышав повелительный голос, женская фигура подняла голову и полными слез глазами взглянула на Федора Андреича. Несмотря на всю сухость сердца, он почувствовал что-то вроде сострадания.

То была очень хорошенькая девушка лет пятнадцати, с выражением такой отчаянной грусти, что Федор Андреич почувствовал необходимость сказать ей, и как можно скорее, что-нибудь утешительное. И, указав на кареты, он произнес:

– Они сейчас проедут.

– Мы давно ждем, – отвечала девушка, отирая слезы.

И, дернув за воротник крикливую женщину, прибавила:

– Оставь их, Матренушка; мы лучше подождем.

– Ишь вы какие, барышня! этак из-за них, озорников, и обедню здесь простоишь! – гневно отвечала Матренушка и снова начала перебраниваться с кучерами.

Девушка замолчала и, облокотись на дроги, задумалась. Слезы ручьями текли по ее щекам; но она не замечала этого, погруженная в раздумье. Федор Андреич, присев на доску у забора, куда притиснуло гроб экипажами, смотрел на девушку. Наконец последняя карета проехала, и дроги двинулись; девушка и ее спутница продолжали шествие. Федор Андреич, проводив далеко глазами печальную церемонию, без бархата, карет и факельщиков, но трогательную сердцем фигурой молодой девушки, пошел тихо к церкви, чтоб снова присоединиться к пышным похоронам.

Досада изобразилась на его лице, когда, подойдя к паперти, он увидел опять тот же простой гроб и девушку. Спутница ее суежилась, кричала и охала, нанимая внести гроб в церковь. А девушка тоскливо глядела на толпу, окружавшую гроб, и судорожно сжимала свои руки, как бы досадуя, зачем они так слабы, что не могут внести гроб. Но, завидев Федора Андреича, она радостно кинулась к нему и умоляющим голосом сказала:

– Пожалуйста, помогите внести гроб! Матренушка только всё разговаривает.

Федор Андреич сделал было недовольное лицо; но горькие рыдания девушки устыдили его, и он подошел к гробу, прикрикнул на спорящих с Матренушкой и собственноручно понес его с другими в церковь. Гроб поставили; девушка стала возле него. И когда сняли крышку, она как будто обрадовалась, увидев лицо покойницы, в с любовью начала поправлять помявшийся ее наряд. Пожилое лицо покойницы походило скорее на спящее, чем на мертвое. Ни одна черта на этом кротком лице не была искажена предсмертными муками; только бесконечная грусть разлита была в нем.

Грациозная фигура девушки, одиночество у гроба, молодость, искренняя и тихая скорбь, ласки, расточаемые ею покойнице, подавляемые рыдания – всё это обратило внимание присутствующих на девушку. Как при пышных похоронах жалеешь о покойнике, мало думая о провожающих его, которым он, верно, оставил хорошее утешение, так точно при виде бедных похорон вдвое большее сжимается сердце за сопровождающих гроб.

Девушка, казалось, забыла всё и всех; она спешила ласкать покойницу, поминутно целуя ее оледенелые руки и лицо, обливая их слезами. Федор Андреич, внеся гроб в церковь, невольно сделался как бы участником в бедных похоронах. К нему обращались с вопросами, и так как спутница девушки исчезла, то ему пришлось сделать некоторые распоряжения.

Началось отпевание; плач, крики огласили церковь, и, после продолжительного прощания, покойников поочередно понесли из церкви с плачем и унылым пением.

Девушка еще в начале панихиды страшно побледнела и впала в какое-то остоленение. Церковь опустела, пение слышалось еще, но становилось всё тише и тише, наконец совершенно замолкло. Девушка пошатнулась и упала без чувств у гроба.

Федор Андреич уже был в дверях, чтоб идти за богатым гробом, как одна из нищих, стоявших у дверей, дернув его за рукав, сказала:

– Глянь-ка, барин, твоя, что ль, упала?

Федор Андреич, воображая, что нищая просит милостыню, проговорил:

– Бог подаст!

– Да о девушке тебе говорю, ты, кажись, гроб внес, так с ней что-то приключилось.

Федору Андреичу страшно надоело его приключения; он остановился на паперти и смотрел на удаляющиеся богатые похороны, в раздумье – идти ли вперед или назад.

– Посторонитесь! эй, вы! – раздался резкий голос позади него.

То был церковный служитель, пробивавшийся в дверях между нищими; на его руках лежала без чувств девушка.

Федор Андреич подошел к ней. Служитель спросил его:

– Не из ваших ли?

– Нет! – отвечал он, глядя, как служитель своими грубыми руками поддерживал маленькую бледную головку девушки и вопросительно осматривался, куда бы ее положить. Крякнув, он опустил ее на камень, махнул рукой и встал с коленей.

– Куда же ты? – сердито спросил Федор Андреич.

– Мне некогда, – отвечал служитель и пошел.

Федор Андреич глядел на девушку нерешительно. Нищие, как вороны, сбегались к несчастной.

– Кажись, она богу душу отдала! Смотри-ка, Кондратьевна, точь-в-точь алебастровая! – воскликнула одна из нищих.

Кондратьевна была одета в черный коленкоровый салоп и повязана черной косынкой; она с убийственной холодностью нагнулась к лицу девушки и будто с сожалением смотрела на нее, и между тем жилистая рука старухи скользнула в карман платья девушки.

Хромой нищий, мальчишка, запыхавшись, подскочил тоже к толпе, стуча своим костылем, и крикнул:

– Небывалая покойница – пешком сюда пришла! А зачем платок тащишь! – прибавил он.

– Ай-ай! – раздалось в толпе нищих.

Кондратьевна стала браниться с хромым, который замахнулся было на нее костылем и задел за девушку.

Федор Андреич кинулся к толпе, грозным голосом разогнал нищих. Одна Кондратьевна замешкалась, заботливо прикрывая украденным платком лицо девушки.

Федор Андреич оттолкнул Кондратьевну, сбросив платок с лица девушки, и, сев подле нее, приложил руку к ее сердцу; потом он торопливо приказал принести воды и уксусу, обещая заплатить. Когда было окроплено водой лицо девушки и смочена уксусом ее голова, она медленно открыла глаза, тяжело вздохнула и, невнятно прошептав: «Мне спать хочется», опять закрыла глаза.

Тихое дыхание, детское выражение лица девушки возбудили сильное сострадание в Федоре Андреиче: он, не шевелясь, просидел с полчаса над нею.

Явилась Матренушка, но не освободила Федора Андреича. Поохав над девушкой, она побежала в церковь, чтоб нести гроб к могиле. Когда его понесли из дверей при громких рыданиях Матренушки, девушка вздрогнула, быстро открыла глаза и, дико вскрикнув, рванулась к гробу. Федор Андреич удержал ее, боясь, чтоб она не помешала нести гроб. Но силы девушки так были истощены, что она не могла встать с колен и, оставаясь в этом положении, горько зарыдала. На холодном лице Федора Андреича явилось сострадание; он с нежностью уговаривал девушку, которая в отчаянии ничего не видела и, прильнув к нему на грудь, продолжала рыдать. Она рыдала горько и долго, так что грудь заныла у Федора Андреича. Наконец рыдания стали тише и тише и понемногу совсем замолкли. Девушка впала в забытие.

Федору Андреичу в первый раз в жизни пришлось быть в таком положении. Слезы и рыдания потрясли его так сильно, что он принял живое участие в девушке и терпеливо ждал возвращения Матренушки.

Матренушка явилась с кладбища и, всхлипывая, упрашивала Федора Андреича покусать куты, которую она держала в стакане.

– Ну что плакать-то! отвези-ка скорее свою барышню домой да уложи в постель, – наставительно сказал Федор Андреич и, взяв девушку на руки, понес к своей карете.

– Ах, батюшка, что ты делаешь! – в испуге вскрикнула Матренушка и заслонила ему дорогу.

– Что ты, с ума сошла? пусти! – сказал Федор Андреич.

– Как можно, батюшка! какая карета? Ишь, что у меня осталось, а дома и гроша нет.

И Матренушка, развязав узел носового платка с медными деньгами, стала считать их.

– Садись, дура! – сердито заметил Федор Андреич. – Тебя не заставят платить.

– Ах, родной ты, бог тебя наградит, – кланяясь низко, захныкала Матренушка.

Федор Андреич бережно положил в карету девушку, которая по временам медленно открывала глаза, чтоб тотчас снова закрыть их.

Матренушка с гордостью раздавала свои гроши нищим, приговаривая: «Молитесь за рабу божью Евдокию».

– Садись скорее! – крикнул Федор Андреич, выходя из кареты.

Матренушка раза два споткнулась, наконец влезла в карету, говоря:

– Это ничего, батюшка: устала маленько моя барышня.

– Какое устала! она просто больна.

– Да как и не заболеть, прости господи! ведь уж как возились-то с покойницей. Денно и ночью сидели у ее кровати. Да как и умерла уж, всю обмыла, да сама еще, никак, и читала над ней.

– Что она, дочь, что ли, покойницы? – спросил Федор Андреич, глядя, как Матренушка укладывала головку девушки на свой салоп.

– Нет, внучка! – отвечала Матренушка.

Взяв в зубы гребень, выпавший из головы девушки, и завертывая как попало густые волосы своей барышни, она в то же время продолжала:

– Да, кажись, очень дальная; но по чувствам не уступит и сродной. Нечего греха таить, заплатила покойнице сиротка за ее хлеб-соль.

– Так у ней даже никого родных нет? – спросил Федор Андреич.

– Ни души, oprичь при смерти больного старика, сожителя хозяйки-покойницы.

– Кто они такие? Кажется, очень бедные?

– И не приведи господи! иной день... да что тут рассказывать: чай, подивились, какие похороны-то!

Федор Андреич, спохватившись, что задерживает больную, захлопнул дверцы и крикнул кучеру ехать; а сам пошел пешком.

Так как экипажей было много, то карета не скоро выбралась на простор; когда она догнала Федора Андреича, задумчиво шедшего, Матренушка высунулась и закричала ему:

– Спасибо тебе за сироту!

Но за шумом экипажей Федор Андреич не расслышал слов Матренушки; он подумал, что девушке хуже, приказал кучеру остановиться и, подойдя к окну, спросил:

– Что с ней?

– Да ничего, батюшка, кажется, опочивает.

– Так зачем же ты кричала? – с сердцем спросил Федор Андреич и привстал на подножку, чтоб посмотреть на больную. Сострадание ли выразилось на холодном лице Федора Андреича, или так просто вздумалось Матренушке, только она умоляющим голосом сказала:

– Батюшка... родной, не оставь сироту!

– Да что я могу сделать, глупая! – отвечал Федор Андреич.

– Да помоги ты хоть нам старика-то в больницу отвезти. А то она, сердечная, изведется с горестей.

– Да как его фамилия?

– Самсонов, батюшка, Яков Петрович Самсонов!

– Так, значит, хоронили Авдотью Степановну? – поспешно спросил Федор Андреич и в волнении схватился за ручку кареты.

– Ах, господи, так она вам знакома! – радостно воскликнула Матренушка.

Через две минуты Федор Андреич сидел в карете и расспрашивал Матренушку о господах, в особенности о старичке.

Дорогой девушка очнулась и очень удивилась, увидав себя в карете и в сопровождении незнакомого лица.

– Ишь мы, по-господски теперь с похорон едем! – с гордостью заметила Матренушка, и, указывая на Федора Андреича, она продолжала: – Вот они изволили знать вашу бабушку.

– Вы ее знаете? – радостно спросила девушка, обратиться к Федору Андреичу, и заплакала, прошептав: – Она умерла!

– Перестаньте плакать, успокойтесь, вы можете захворать, а на ваших руках есть еще больной, – сказал Федор Андреич.

Девушка поспешно вытерла слезы и, принужденно улыбнувшись, сказала:

– Разумеется, глупо! Я не буду больше плакать. А вы знаете дедушку?

– Как же! Но вы, вы меня помните? – спросил Федор Андреич.

Девушка устремила на него свои выразительные глаза и закачала головой.

– Я вас видел очень маленькой; вы так изменились, выросли, – я бы ни за что вас не узнал.

Девушка продолжала глядеть на него и как бы отыскивала в недалеком своем прошедшем время, когда знавала его.

– Ну, не говорил ли вам дедушка иногда о родственнике своем, Федоре Андр...

– Ах боже мой! так это вы! – пугливо воскликнула девушка, и ее лицо покрылось краской, а в глазах блеснул гнев; она тихо продолжала: – К вам дедушка писал три письма, даже я...

– На то была причина, что я ничего не писал вам. Меня не было в деревне.

– А потом? – заметила девушка.

– Как только я узнал обо всем, то сейчас же поехал в Москву.

Федору Андреичу показалось совестно сознаться перед девушкой, что он не хотел отвечать своему родственнику. Он лгал ей.

– Теперь поздно! – с упреком сказала девушка; но вдруг голос ее изменился, и она умоляющим голосом прибавила: – У дедушки ничего не осталось: всё взяли!

– Будьте покойны: я всё сделаю, что от меня будет зависеть.

Радостная улыбка оживила лицо девушки.

Федору Андреичу больной дедушка приходился двоюродным братом по женской линии. Мачеха Федора Андреича не очень уважала своих бедных родственников и редко упоминала о существовании их, в то время как с богатыми вела аккуратную переписку, описывая свое несчастное вдовье положение с сиротами. Но она дурно разочла. Богатые родственники равнодушно приняли Федора Андреича, когда он приехал в Москву служить, и ни в чем не пожелали помочь ему. А забытый и пренебреженный бедный родственник радушно принял его, обласкал, ссудил деньгами и, несмотря на разность лет, был ему самым нежным братом, – даже раз выручил его из беды, внеся за него деньги, проигранные им. Но, по холодности своей натуры, Федор Андреич легко забыл доброго родственника, и когда получил отчаянное письмо, в котором брат описывал ему нищету свою, застигшую его неожиданно, Федор Андреич даже ничего не отвечал; то же было и с другими письмами. Он сохранил только одно – именно письмо внучки, которая тихонько писала к нему о бедном состоянии своего дедушки. Оно поразило его оригинальностью своей: в нем было столько детского и вместе с тем так много справедливых и гордых упреков.

Федор Андреич застал своего двоюродного брата в самом горестном положении. Будучи искусным ходатаем по тяжёлым делам и в то же время человеком беспримерной честности и доброты, брат его взялся за процесс одного бедного человека; в выигрыше процесса не было сомнения, и по доброте своей старик употребил много денег, занимая на свое имя, так как никто не хотел верить тяжущемуся. Процесс уже подходил к концу, как вдруг тяжущийся скончался, разбитый экипажем, наехавшим на его дрожки. Наследники получают почти выигранное дело, передают его другому. Доверчивому ходатаю не только не уплатили расходов по делу, но даже обвинили его в каком-то дурном поступке. Началось дело. Самсонов в отчаянии захворал и поручил отписываться другому; попался ему человек не очень добросовестный, который и довел его до нищеты. Дом продали на уплату долгов; мебель и вещи пошли на лечение. Неожиданно скопившиеся несчастья так потрясли жену стряпчего, что она, не дождавшись своего мужа, первая поспешила слечь в могилу. Самсонов, верно, последовал бы за нею, если б не Федор Андреич, который не пожалел денег на его лечение.

Когда старик начал поправляться, Федор Андреич предложил ему и его внучке убежище в своем доме. Старик с радостью согласился.

При первой встрече с родными гостями Настасья Андреевна, сама не зная почему, возненавидела Аню. Может быть, сначала то была бессознательная вражда старой девы к молоденькой и хорошенькой девушке. Но потом заботливость брата о гостях, какой ни она, ни приемыш никогда не видали и даже не подозревали, чтоб он был к ней способен, – довершила остальное. Настасья Андреевна сделалась сурова и мелочно требовательна к Ане, и, верно, Ане пришлось бы плохо, если б не Федор Андреич да не хитрый Петруша, с первого же дня подружившийся с Аней.

Старичок страдал, когда Настасья Андреевна нападала на его внуку. Но делать было нечего: им некуда было деваться. Аня понимала очень хорошо свое положение и, зная, что ее слезы огорчают дедушку, старалась как можно равнодушнее принимать незаслуженные упреки и выговоры Настасьи Андреевны; но такое благоразумие еще более подстрекало Настасью Андреевну: она прибегала к самым мелочным мерам и часто метко попадала в своего врага.

Известно, что переход из детства сопровождается желанием казаться старше своих лет, Настасья Андреевна была неумолимо строга к туалету Ани, которым распоряжалась по поручению брата. И Аня со слезами надевала пелеринку, которую давно уже стыдилась носить, считая себя взрослой девушкой; но всего ужаснее было ей расстаться с своими прическами, которые она так искусно умела разнообразить каждый день.

Слез Ани Настасья Андреевна боялась: они поднимали грозу в доме. Если Федор Андреич замечал, что у Ани красные глаза, он тотчас требовал, чтоб она сказала ему причину. Таким образом, узнав раз о несправедливости Настасьи Андреевны, он назвал ее «сварливой бабой». С той минуты Настасья Андреевна всеми силами своей души возненавидела Аню и искала неумолимо случаев мстить ей, не рассуждая о беззащитности своего врага. Но, к счастью Ани, Федор Андреич стал реже отлучаться из деревни и сроки его отсутствия не были продолжительны.

Против своего обыкновения, он стал проводить вечера в гостиной, где играл в карты или шашки со старичком, а иногда требовал, чтоб Аня читала ему вслух какую-нибудь книгу или газету. Эти семейные картины наполняли сердце Настасьи Андреевны ревностью, почему не ее приемыша заставляет он читать, и под предлогом хозяйства она бежала к себе наверх, чтоб не слышать приятного голоса Ани, который раздражал ее... Зато старичок сладко засыпал под голос своей внучки. Петруша присутствовал тут же и, будто слушая, сам с собой играл в шашки. Один Федор Андреич, медленно покуривая из маленького чубука с огромной пенковой трубкой, слушал внимательно и часто поправлял Аню, если она торопилась и не так выговаривала слова.

Удар был еще ужаснее для Настасьи Андреевны, когда ее брат стал заботиться о неоконченном воспитании Ани, в то время как давно была пора думать о воспитании Петруши.

В дом был взят гувернер. Петрушу с Аней засадили за уроки. Так как Петруша был резвый мальчик, то Аня, очень понятно, оказывала больше успехов, чем он, и часто получала похвалы от Федора Андреича, а Петруша – выговоры. В глазах Настасьи Андреевны всё принимало другой вид: она вообразила, что беззаботная Аня помышляет очернить Петрушу в глазах его благодетеля, а учитель потому только хвалит ее, что она перед ним кокетничает. И раз, присутствуя при выговоре, который прочитан был Петруше его благодетелем, Настасья Андреевна не выдержала и стала защищать своего приемыша.

– Вы, братец, всё его браните, а не хотите обратить внимания, с кем больше занимается Селивестр Федорыч. Всякий отстанет, если только с одной будут заниматься.

Федор Андреич сердито заметил, что пристрастие ее ослепляет.

– Господи! так небось к ней не пристрастен никто! Уж я давно всё вижу, да не хотела говорить вам! Я чаще вашего заглядываю в классную.

После этого разговора Федор Андреич стал посещать классную, что имело неблагоприятные последствия: Петруша подвергался наказаниям еще чаще и строже. Настасья Андреевна каждый раз, как начинался класс, подслушивала у дверей и, подметив что-нибудь за Аней и учителем, перетолковывала по-своему. Наконец Аня стала конфузиться учителя, преследуемая обидными и несправедливыми намеками Настасьи Андреевны.

Это не укрылось от Федора Андреича, и он уволил Аню от классов. А сам учитель, верно догадываясь о причине частых сцен в доме и боясь потерять место, отправился в город на неделю и, пробыв там две, явился с женой. Искусная сваха помогла ему. Через три дня по приезде его явилась к учителю очень пожилая женщина в сопровождении какого-то молодого мужчины и объявила, что она пришла переговорить с ним, узнав его желание. После расспросов, сколько он получает жалованья и какой его характер, пожилая женщина сказала, что у ней есть племянница двадцати семи лет с десятью тысячами приданого, которую она желает устроить, собираясь сама предпринять дальнейшее путешествие. Вскоре учитель стоял под венцом с девушкой, очень неуклюжей, с некрасивым, но смиренным лицом.

Таким образом, мы познакомились теперь со всеми лицами, которых увидели в начале повести, и даже узнали несколько о Федоре Андреиче, которого не было на нашей сцене при поднятии занавеса.

Глава V

Хитрая выдумка

Аня и Петруша остались в саду. Он сидел верхом на деревянных перилах террасы в задумчивом положении. Аня, стоя неподалеку, бросала кверху носовой платок, играя им, как мячиком.

– Ну, лови, Петруша! – сказала Аня, кинув платок к Петруше.

Он ничего не слышал и оставался в задумчивой позе.

Подымая упавший платок, Аня насмешливо спросила его:

– Скажи, пожалуйста, Петруша, о чем ты так задумался? Верно, боишься, что Настасья Андреевна пожалуется *ему*?

– Вовсе и не думал! – обидчиво отвечал Петруша. – Если бы даже и пожаловалась... ну, что мне могут сделать??

– Как же? – с удивлением спросила Аня.

– Разумеется! ну, что сделают?.. побранят!.. велит сидеть у Селивестра Федорыча!..

И, помолчав, он с грустью продолжал:

– Нет, Аня! я думал, отчего она меня не хочет послать нынче в город, чтоб держать экзамен. Ведь опять целый год надо будет сидеть в классной с Селивестром Федорычем да проходить зады. В то время как все мои товарищи учатся, я... я один только бью баклуши в этой куцей курточке!

И Петруша с сердцем рванул курточку, так что она затрещала; глаза его наполнились слезами, и он засвистел, вероятно желая скрыть их.

– Ну, кто у тебя и бывает? один Федя! – заметила Аня.

– Он-то меня и злит! – с горячностью подхватил Петруша и с возрастающим жаром продолжал: – Поступил в класс – и нос поднял, говорить со мной не хочет, что ни скажу ему – подсмеивается, ты, говорит, на руках у нянюшек. А сам мне по плечу, да и годами моложе.

И, переменяя голос, он с восторгом воскликнул:

– Ах, Аня! что он мне рассказывал! как они весело живут! играют, курят!

– Ну, а как узнают? – спросила Аня.

– Кто же может узнать! Селивестра Федорыча нет там, чтоб всё переносить. А товарищи не выдадут и сухим из воды вытащат. Да погодите, я уж поставлю на своем: я буду, буду в пансионе нынешний год!!

Последние слова Петруша говорил, обратись к дому, как будто кто-то его слушал в окне.

Аня засмеялась.

– Чему ты смеешься? – с сердцем спросил Петруша.

– Над тобой!... ха-ха-ха!... у! как разгорячился. И играть будет, и курить будет... ха-ха-ха!

– Буду, всё буду делать, что захочу, как переселюсь в город! – топнув ногой и разгорячась, воскликнул Петруша.

– Да в том-то и вся сила, когда-то еще переселишься? – поддразнивая, заметила Аня.

– Клянусь тебе, очень скоро! – торжественно произнес Петруша и прибавил таинственно: – Я уж знаю, что надо сделать.

Аня перестала смеяться и с любопытством спросила:

– А что?

– Скоро состареешься – не скажу!

– Пожалуйста! – умоляющим голосом сказала Аня.

– Я, пожалуй, скажу, только с условием.

– Какое?

– Танцуй со мной при Феде, а ему откажи, если он будет просить тебя. А то он меня всё дразнит, что ты на меня как на мальчишку смотришь...

Аня, помолчав, нетерпеливо сказала:

– Ну, скажи же, что ты сделаешь?

Петруша огляделся кругом и, понизив голос, сказал таинственно:

– Помнишь, по какому случаю *он* рассердился, хотел меня отправить в город? Да тетенька разнежничалась!

– Ну, помню! что же? – с напряженным любопытством спросила Аня.

– Не понимаешь? – с удивлением, в свою очередь, спросил Петруша.

Аня покачала головой.

– Я...

Петруша опять огляделся и тихо продолжал:

– Я перепишу черновое письмо Феде, что он у меня оставил, и выроню при *нем*, будто нечаянно.

– Так что же?

– А вот увидишь, что будет, – весело отвечал Петруша и, схватив Аню за руку, потащил ее за собой, прибавив:– Побежим в нижний сад.

Аня сначала упиралась, но потом пустилась бежать ровно с Петрушей и спросила его:

– А кому писал Федя письмо?

– К Танечке, – отвечал Петруша,

– И она ему пишет?

– Разумеется!

Она замолчала и продолжала бежать. Петруша усилил свой бег и сказал:

– А ты будешь писать ко мне, когда я уеду отсюда?

– Это зачем?

– Так!

– Нет-с, вы уж лучше попросите Танечку, чтоб она вам обоим писала.

– Трусиха! – заметил Петруша и, выпустив ее руку, пошел шагом.

– Вовсе не из трусости!

– А из чего же?

– Так!

– Значит, тебе меня не будет жаль? – с упреком заметил Петруша.

– Пойдем к лодке, Петруша! – взяв его за руку, поспешно сказала Аня.

– Зачем?

– Нарвем цветов; я их ужасно люблю.

– Ну пойдем!

И они как стрелы пустились бежать, – перебежав мостик, повернули по берегу речки, которая прихотливо изгибалась узкою лентою, окаймленною с двух сторон широкими листьями болотных лилий. Прибежав к одному из кустов, Петруша взвалил себе на плечи два весла, которые скрывались там, и медленно пошел к лодке, стоявшей невдалеке. Он проворно прыгнул в нее и отвязал ее от колышка, покрытого изумрудным мхом.

Лодка заколыхалась, и из-под зеленой тины блеснула вода. Петруша с ловкостью перекинул конец весла на берег, а другой придержал рукой. Аня, приподняв высоко платье, чтоб его не замочить, стала тихонько пробираться по веслу, которое вертелось во все стороны.

– Какие у тебя маленькие ножки! – заметил Петруша.

Аня, потеряв баланс, закачалась.

Если бы не ловкость Петруши, она упала бы в воду; но он схватил ее за руку и с силою притянул в лодку. Он смеялся. Аня тоже смеялась.

Лодка тем временем отчалила от берега и тихо прорезала себе дорогу в зелени, оставляя за собой ленту воды, которая уменьшалась постепенно и наконец исчезла.

– Смотри, весло забыли! – кричала Аня.

– И с одним накатаемся.

* * *

Петруша стоя правил одним веслом и насмешливо глядел на нее.

Легкий туман стал подниматься из реки, которая становилась шире и чище, а лес, окаймлявший берега с обеих сторон, густел и темнел. Петруша и Аня плыли молча; последняя смотрелась в воду, опускала руки в нее и так ехала, производя ими легкий плеск.

– Петруша! – неожиданно окликнула она задумавшегося своего вожатого.

– А? – спросил пугливо Петруша.

Эхо повторило их. Это Аню очень заняло, и она, смеясь, стала повторять на разные голоса имя Петруши и прислушивалась к эхо.

– Отчего, Петруша, лес повторяет, что я ни скажу? – спросила Аня.

– Это – эхо, – глубокомысленно отвечал Петруша.

– Вот хорошо! я и без тебя знаю, что эхо! – насмешливо и передразнивая его голос, отвечала Аня и с важностью продолжала: – Нет, ты мне растолкуй, отчего и как?

Петруша молчал.

– Не знаешь?

– А ты знаешь? – с досадою спросил Петруша.

– Нет! но мне не стыдно! я не буду курить и писать письма! – Аня сопровождала свои слова лукавыми взглядами.

– О, тогда я всё узнаю; а теперь чему научиться с Селивестром Федорычем? разве как сушить васильки, чтоб перемешивать с табаком и потом курить их.

– Да тебе будет скучно там одному! На лодке нельзя кататься и рвать таких цветов.

И Аня нагнулась сорвать одну из лилий; но корень был крепок, и она только возмутила поверхность воды. Петруша, бросив весло, сорвал ей его.

– Еще и эту, и эту! – говорила Аня Петруше, который наклонял лодку во все стороны, собирая цветы, разбросанные по реке, и говорил:

– Чего мне будет жаль, так тебя, Аня: она тебя замучит попреками.

– Уж, право, не знаю, что я ей сделала! она меня ужасно не любит, – с грустью сказала Аня.

– Ты пиши ко мне, если уж она очень...

– Что же ты сделаешь?

– Я...

Петруша призадумался и потом отвечал:

– Я скажу ей, что не буду ее любить.

– Ах! не говори ты ей этого! – воскликнула Аня в испуге и тихо заплакала.

– О чем же ты плачешь, Аня? – недовольным голосом спросил Петруша, и, отнимая ее руки от глаз, он вкладывал в них цветок.

– Страшно! – всхлипывая, отвечала девушка.

– С чего тебе страшно? – глядя вокруг, спросил Петруша.

– Я останусь одна: она меня с дедушкой будет бранить всякий день.

– Ну так я останусь, не плачь! Посмотри, какой чудесный цветок.

Так утешал Петруша свою спутницу.

Аня взглянула на цветок, понюхала его и немного запачкала себе нос. Петруша залился смехом и, сорвав себе лилию, напачкал тоже свой нос.

Они гримасничали в лодке, смеялись; вдруг Аня призадумалась и сказала:

– Знаешь что, Петруша: сорвем по цветку, высушим их, и когда ты приедешь побывать, я спрошу свой, а ты у меня свой. И если кто потеряет его, тот должен целый год исполнять всё, что ни приказывают.

– Хорошо; спасибо! – отвечал Петруша, взяв поданный ему цветок, и прибавил: – Я его в историю положу.

Болтая, они не заметили, что стемнело. Аня первая пугливо сказала:

– Однако, Петруша, вернемся назад; пока еще доедем, а может, нас хватятся.

Но как ни спешил Петруша, когда лодка причалила к месту, где они сели, уже совсем смерклось. Аня с Петрушей бегом пустились к дому, и лишь только завидели его, как оба в один голос пугливо заметили:

– Огонь в гостиной!

– Не приехал ли он? – сказал Петруша.

И, подойдя ближе к дому, стал на скамейку. Аня последовала его примеру. Приподнявшись на цыпочки, она заглянула в окна и потом, быстро присев, дрожащим голосом сказала:

– Ах, уж и стол накрыт!

Петруша, стоя на скамейке и придерживаясь за плечи Ани, говорил:

– Он ходит по комнате: значит, сердит! – И, соскочив со скамейки, он продолжал: – Смотри, Аня, скажи, что сидела у себя в комнате.

– Хорошо; ну, иди же; я приду потом, – отвечала Аня.

И они разошлись.

В зале был уже накрыт стол для ужина. Старичок сидел в своих креслах и, прильнув к стеклу, высматривал в темноте сада свою внучку и Петрушу, которых искали по всему дому и ждали ужинать. Федор Андреич, рассерженный поздним отсутствием Петруши и Ани, расхаживал в зале и ворчал на свою сестру, зачем она не смотрит за ними и позволяет девушке в такой поздний час отлучаться из дому. Настасья Андреевна своими словами, казалось, еще сильнее раздражала гнев брата. Фигура его, и без того серьезная, сделалась мрачною. Он был небольшого роста, но необыкновенно широк в плечах, с плотными руками и ногами. Его лицо далеко не принадлежало к числу приятных; густые с проседью волосы, торчавшие вверх, придавали его строгим чертам что-то мрачное; а густые брови, почти сросшиеся вместе, увеличивали суровость выражения его черных блестящих глаз и большого носа. Он носил небольшие усы с проседью, которые скрывали его толстые губы. Цвет лица его был красноватый и не лишенный здоровья. Одет он был в синеватого цвета венгерку с высоким стоячим воротником, который упирался в его полный подбородок и делал еще шире его лицо.

Появление Петруши нарушило молчание, воцарившееся в зале. Федор Андреич встретил его следующими словами:

– А, насилу явился!

Петруша поцеловал у него руку.

– Вы заставляете ждать себя... Где ты был?

И лицо Федора Андреича становилось всё мрачнее.

– Я катался на лодке! – робко отвечал Петруша.

– Я ведь тебе запретил? как же ты смел! – грозно спросил Федор Андреич.

– Я ему позволила: он хорошо играл сегодня! – подхватила Настасья Андреевна.

Ее брат, нахмутив брови, отвечал:

– Прекрасно, ты его отпустила; а где же Аня?

– Я не знаю-с! – поспешно отвечал Петруша.

– Разве она не с тобой каталась? – с удивлением спросил Федор Андреич.

– Нет-с! – запинаясь, проговорил Петруша.

В ту минуту Аня, слегка смущенная, вошла в залу.

– А-а-а, сударыня!.. где вы изволили быть? – торжествующим голосом спросила Настасья Андреевна.

– Я сидела наверху!

– Неправда: я сама была в вашей комнате.

– Верно, я...

– Поди поздоровайся, – перебил ее старичок.

Аня подошла к Федору Андреичу, поцеловала его в щеку.

– Боже мой! посмотрите на ее платье, – вскрикнула Настасья Андреевна и, кинувшись к Ане, стала повертывать ее во все стороны.

Торопясь домой, Аня забыла о своем платье, и роса вымочила его.

Федор Андреич выразительно посмотрел на Петрушу, погрозив ему, и сквозь зубы сказал:

– Так ты один катался?

– Я одна гуляла в саду! – побледнев и умоляющим голосом сказала Аня, обратиться к Федору Андреичу, который отвернулся от нее и настойчиво требовал, чтоб Петруша сознался в своей лжи.

Но Петруша упорно молчал. Этим временем Настасья Андреевна накинулась на Аню, которая заплакала.

Федор Андреич, оставив Петрушу, обратился к плачущей и грозно закричал:

– Вы, кажется, сговорились меня злить сегодня. Одна плачет, другой лжет!

– А она разве не солгала вам? – подхватила Настасья Андреевна, бросая яростные взгляды на Аню.

– Настасья Андреевна, моя Аня не лгунья! – обидчиво заметил старичок.

Внучка кинулась к своему защитнику и, скрыв свою голову на его плече, горько зарыдала. Дедушка утешал ее и шептал:

– Тише, не плачь: он пуще рассердится.

Федор Андреич заходил скорыми шагами по комнате: то было признаком гнева.

Настасья Андреевна шепталась с Петрушей, делая ему выразительные жесты.

– Да перестанете ли вы, сударыня! – грозно топнув ногой, сказал Федор Андреич, остановившись перед Аней. – Вы плачете, как будто бог знает что с вами сделали. Прошу перестать: вы знаете, я не люблю слез!

Последние слова были сказаны гораздо громче. Старичок вытер слезы у внучки и сказал ей тихо:

– Попроси прощенья.

– Я не виновата! – отвечала Аня всхлипывая.

– Капризная девчонка! – заметила Настасья Андреевна и, крикнув лакея, приказала подавать ужин.

В глубоком молчании все уселись за стол, в том числе и гувернер с женой, сошедший сверху. Раз двадцать он кланялся, а жена его приседала хозяину дома, пока они были замечены им.

– Вы продолжаете сердиться? отчего вы не кушаете? – нахмутив брови, сказал Федор Андреич Ане, которая сидела, понутив голову, и ничего не ела.

Старичок толкнул ее ногой. Аня, не слышав вопроса хозяина, вопросительно посмотрела на своего дедушку, который уткнулся в свою тарелку и прилежно кушал.

– Отвечайте же, – вас спрашивают! – дрожащим от гнева голосом сказала Настасья Андреевна.

– Что вам угодно? – спросила Аня.

– О чем вы так думаете, что ничего не слышите? – язвительно спросила Настасья Андреевна и готовилась продолжать выговор, но, остановленная взглядом своего брата, быстро сжала губы.

Встали из-за стола. Аня подошла проститься с Федором Андреичем, сказав грустно:

– Покойной ночи-с!

Федор Андреич взял Аню за руку, поцеловал ее в лоб и ласковым голосом произнес:

– Забудьте всё и спите спокойно.

Аня с теми же словами подошла к Настасье Андреевне. Они обе едва коснулись губами до щек друг друга; последняя наградила Аню гневным взглядом. Со старичком Аня прощалась без слов. Она нежно поцеловала его в щеку, потом в руку и опять в щеку, как бы желая показать присутствующим свои чувства к нему.

– Дедушка, я вас провожу и зайду к вам, – шепнула она старичку.

Старичок крепко поцеловал свою внучку и перекрестил.

– Прощайте, Петрушенька! – сказала Аня, проходя мимо него.

Петруша стоял у окна и глядел в мрачный сад. Эти слова вывели его из задумчивости; он молча поклонился Ане и с нежностью поцеловал старичка, который отвечал ему таким же поцелуем и тоже его перекрестил.

– Прощай, брат! – пожимая руку Федора Андреича, сказал старичок, сопровождая слова свои благодарным взглядом.

– Прощайте! – вдруг веселым голосом отвечал Федор Андреич и, сделав общий поклон, ушел из залы.

Все побрели по своим комнатам, исключая Настасьи Андреевны, которая осталась собирать остатки белого хлеба в корзинку и долго еще копалась внизу, запирая водку, вино по разным чуланам.

Через час всё в доме спало глубоким сном; только в кабинете Федора Андреича еще виден был огонь.

Часть вторая

Глава VI Письмо

Кабинет Федора Андреича уборкой своей не отличался от других комнат. Мебель была в нем самая необходимая: железная кровать, у которой стоял маленький столик, заваленный губернскими газетами, бронзовый подсвечник с зеленым колпаком, освещавший комнату, комод старинный с бронзовой оправой, несколько стульев соломенных, новейшей работы бюро и у окна вольтеровское кресло, в котором задумчиво сидел Федор Андреич. В его руках был неизменный его коротенький чубучок с огромной пенковой трубкой. Но он не курил в эту минуту, а, поддерживая голову одной рукой, смотрел в раскрытое окно в темный сад. Он сидел так неподвижно, что его можно было принять за спящего, если б из-под густых бровей не сверкали его блестящие серые глаза. В этом положении провел ночь Федор Андреич; лишь только занялась заря, он лениво встал, как бы сожалея о промчавшейся ночи, выбил свою недокуренную трубку и, набивши новую, вышел из своего кабинета и очутился на террасе. Утренний воздух дал ему почувствовать без сна проведенную ночь; усталый, он уселся на отсыревшие ступеньки террасы.

Утро было свежее; зелень и даль неба покрыты были легким наром, который, медленно поднимаясь, разрывался местами. Птицы, чирикавая, скакали по песку дорожек, порхали на кусты, собирая капли росы, или, весело щебеча, пролетали над головой Федора Андреича в свои гнезда, свитые в крыше террасы.

Но его ничто не развлекало: он сидел в неподвижном положении, и трубка опять была забыта. Солнце вспыхнуло, осветив все предметы; птицы громче запели, послышалось мычание коров, ржание лошадей; вдали пахло дымом затопленной печки. Но пробуждение дня не могло вывести из задумчивости Федора Андреича. Наконец он вдруг встрепенулся. Над его головой раздался стук открытого окна; сонная Аня, с распущенными волосами, с ярко горящими щеками, закутанная в белое одеяло, появилась в окне. Она, шурясь, глядела на солнце, прямо светившее ей в лицо, зевнула, вздрогнула и, плотнее закутавши свои плечи одеялом, легла на окно. Аня глядела неопределенно на небо, на зелень в саду, следила внимательно за птичками – и вдруг скрылась с окна, но через минуту опять появилась, вооруженная зонтиком, которым слегка стукнула в соседнее окно, и спряталась.

Через несколько минут соседнее окно раскрылось с шумом, и сонное лицо Петруши с «вс»клокоченными волосами показалось в нем. Аня выглянула из своего и залилась смехом. Петруша, зевая, спросил:

– Ну, чему смеешься?

– У, какой ты страшный!

Петруша, догадавшись, оправил свои волосы и спросил ее:

– А ты давно встала?

– Давно, давно! – протяжно отвечала Аня и зевнула сладко.

Петруша последовал ее примеру и сказал:

– Что же ты меня не разбудила прежде?

– Не хотела.

– Значит, солгала: верно, сама проспала; а уж как вчера божились, что встанет рано-рано, чтоб идти гулять!

Аня лукаво улыбнулась и, потягиваясь, сказала:

– Какой я страшный сон, Петруша, видела!

– Ну, верно, не страшнее вчерашнего вечера: каково нас поймали? и всё твоё платье!

– Мне так было страшно за тебя! – перебила его Аня.

– А мне за тебя: думаю, расплачется и всё расскажет.

– Вот мило! ты думаешь в самом деле, что я девочка! – обидчиво заметила Аня и с уверенностью продолжала: – Нет, что бы ни случилось со мной, я ничего не сказала бы,

Аня поддерживала свое личико; оно было полузакрыто распущенными ее волосами, концы которых висели из окна и качались в воздухе.

– Знаешь, Аня, тебе бы так носить волосы, – заметил Петруша.

– То есть не чесаться? – смеясь, подхватила Аня, и, закинув голову кверху, смотря на небо и щуря лукаво глаза, она прибавила: – Ну а так хорошо?

– Не шали: упадешь! – строго заметил Петруша Ане, которая мотала головой. – Пойдем гулять... Как бы теперь хорошо покататься на лодке.

– Мне не в чем! мое платье с вечера взяли замывать.

– Надень мое! – смеясь, сказал Петруша.

– Ха-ха!

Петруша в минуту свесил ноги на крышу и болтал ими.

– Не делай этого, бога ради: ты знаешь, какая гнилая крыша. Вон сколько дыр на ней.

И вдруг она пугливо устремила глаза в одну из них и, замахав рукой, скрылась из окна. Петруша стал ее звать и, соскочив на крышу, подошел к ее окну. Аня закричала ему с ужасом:

– Он встал, сидит на террасе.

Петруша пугливо прокрался назад. Оба окна вскоре тихо закрылись. Но Федор Андреич всё слышал и видел, и детские выходки Ани и Петруши ему видимо не понравились. Он совершенно сдвинул свои брови и кусал губы, крутя жестоко свои усы.

Чай и завтрак подавали в этот день в кабинет Федору Андреичу. К обеду стол накрыт был в зале. Все, собравшись, ожидали его появления, чтобы начать обедать. Он так был мрачен при появлении, что на лицах всех присутствующих изобразилась тревога, и они вопросительно переглянулись. Молча Федор Андреич принял приветствие домашних, и когда стенные часы с громом и шипением пробили три часа, он заметил про себя:

– Как поздно!

– Не прикажете ли, братец, подавать кушать? – спросила Настасья Андреевна.

– Давайте, – отвечал рассеянно Федор Андреич, и, обратясь к Петруше, который, стоя у флигеля, перебирал ноты, он сердито прибавил: – Ну что же ты стоишь! вели подавать!

Петруша пошел к двери и в ту самую минуту вынул из кармана носовой платок, а с ним вместе выпало письмо.

– Петрушенька, вы что-то выронили! – заметила Аня, заранее приготовленная, что ей нужно было сказать.

Но Петруша как бы не слышал и вышел в дверь.

Аня подошла, чтобы поднять письмо; но Федор Андреич остановил ее. В то время Петруша вернулся в залу. Федор Андреич молча указал ему на письмо. Петруша, слегка изменяясь в лице, поднял письмо и хотел спрятать его в карман.

– Подай его сюда! – таким голосом произнес Федор Андреич, что все в зале вздрогнули.

Петруша тотчас же повиновался. Пробежав письмо, Федор Андреич громко засмеялся, отчего Настасья Андреевна, побледнев, вскочила со стула и с удивлением смотрела на брата, потому что смех был у него предвестником страшного гнева. Всё, что было в комнате, притаило дыхание и следило за мрачным выражением лица Федора Андреича, который, язвительно улыбаясь, сказал:

– Иди за мной!

И пошел из залы. Петруша твердым шагом последовал за ним.

Настасья Андреевна, проводив их глазами, тоскливо и вопросительно глядела на всех, как бы прося объяснения, и, остановив свои глаза на смущенной Ане, спросила:

– Что это значит?

Аня покачала головой.

Даже безжизненное лицо Селивестра Федорыча пришло в волнение, а его жена сильно закашлялась.

– Что такое Петруша сделал? – спросил старичок Аню с участием.

Она отвечала со вздохом:

– Не знаю, дедушка.

– Опять какие-нибудь шалости! и где усмотреть за ним? – тоном оправдания проговорил учитель.

Лакей явился в залу с миской супу и поставил ее на стол.

– Доложи барину, что суп подали! – свободнее вздохнув, сказала Настасья Андреевна.

Но лакей скоро возвратился, донес ей, что барин ничего не отвечал. Настасья Андреевна приказала вынести миску из залы и вышла; она скоро возвратилась еще в большем волнении, брала вязанье в руки, бросала его, поминутно смотрела на часы и тоскливо на дверь.

Через томительных полчаса явился в залу Федор Андреич; он был бледен, губы его судорожно сжаты; глаза сверкали таким огнем, что все, как бы ослепленные их блеском, потупили свои.

– Что же вы не обедаете? – раздражительным голосом спросил Федор Андреич, взглянув на стол.

– Мы ждали вас, братец! – нетвердым голосом отвечала Настасья Андреевна.

– Велите скорее давать!

Когда опять подали суп, Настасья Андреевна робко сказала лакею:

– Попроси Петрушеньку...

– Не нужно! – перебил ее Федор Андреич.

Настасья Андреевна остоленела, с разливательной ложкой в руках, и глядела на своего брата, который, судорожно постукивая ножом по столу, исподлобья глядел на всех.

– Вы его наказали? – придя в себя, спросила Настасья Андреевна.

– Да! он сегодня без обеда, – резко отвечал ей брат, и она принялась разливать суп.

Федор Андреич ужасно капризничал за столом, ворчал на сестру, что не всё в порядке, громко бранил лакея, подававшего кушанье...

– Боже мой, что с ним? – в недоумении шептала Настасья Андреевна.

Обед тянулся долго, хотя никто почти не ел, кроме Селивестра Федорыча; но и тот видимо конфузился от случайно падавших на него гневных взглядов хозяина.

После обеда, казалось, гнев Федора Андреича поутих; но он всё еще хмурился и, сидя в гостиной на диване с трубкой в зубах, постукивал ногой, глядя в даль сада.

Аня и Настасья Андреевна заняты были работой, а старичок, забыв свой послеобеденный сон, сидел, понутив голову, за шахматным столиком. Тяжелая и подавляющая тишина царил в комнате, в которой была раскрыта дверь на террасу в сад, как бы для сравнения этих людей, заключенных в комнате, с птицами, вольно летающими повсюду, с бабочками, порхавшими по кустам, с мухами, кружащимися бессмысленно в воздухе. Иногда в комнату залетала большая муха: жужжа неистово, она тоскливо билась по стеклам и радостно вылетала опять в сад.

Наконец послышалось мерное дыхание Федора Андреича, и голова его облокотилась на спинку дивана; трубка сжата была в руке, которая покоилась на ручке дивана.

Настасья Андреевна на цыпочках вышла из гостиной и отправилась к кабинету брата, где сидел Петруша. Она постучалась в дверь.

– Кто? Аня? – спросил Петруша изнутри.

– Нет, это я; отвори!

– Я заперт.

– Господи, господи! что ты такое сделал? что за письмо и к кому?

Петруша молчал.

– Говори же! – строго продолжала Настасья Андреевна.

Петруша всё молчал.

– Скажешь ли ты мне!.. – Не дождавшись ответа, Настасья Андреевна с сердцем продолжала: – Поделом тебе, и прекрасно, что тебя наказали: ты упрямый мальчишка!

И она возвратилась в залу; но ее приход, как он ни был осторожен, пробудил брата; подозрительно посмотрев на Настасью Андреевну, он сказал:

– Верно, навещать ходили? да я принял меры против вашего баловства.

И он показал ключ от двери своего кабинета.

Томительно длинно прошло время для Ани от обеда до чаю. Федор Андреич вышел из гостиной, и она кинулась в сад, чтоб подышать чистым воздухом. Поравнявшись с окном кабинета, она услышала сердитый голос Федора Андреича и следующие слова:

– В последний раз спрашиваю, к кому писал письмо?

Ответа не слыхала Аня, и когда хлопнули дверь, она, припрыгнув, закричала:

– Петруша!

Петруша выглянул из окна; глаза его были заплаканы, но он улыбался и торжествующим голосом сказал:

– А каково я их всех поддел!

Аня с участием спросила:

– Петруша, ты, кажется, плакал? за что он тебя оставил без обеда?

– Вовсе не думал плакать! Выйдут же наконец из терпения и пошлют меня в город.

– Не хочешь ли ты есть?

Вместо ответа, Петруша, указав рукой вдаль, поспешно присел.

Аня, повернув голову по указанию Петруши, увидела Федора Андреича, гуляющего по саду; она побежала в залу, где Настасья Андреевна уже сидела за самоваром. Она встретила Аню следующими словами:

– Где это вы изволите бегать?.. из-за вас в доме целый день тревога!

– Я была в саду.

– Так извольте идти опять туда: вас сам Федор Андреич пошел искать; просите его кушать чай.

Аня побежала искать Федора Андреича, но столкнулась с ним на террасе.

– Куда? – строго спросил он.

– К вам-с! – отвечала Аня.

– Это зачем?

– Вы искали меня.

– Да; а где вы были?

– В саду.

– Сад велик! где именно?

Аня замялась, но вдруг поспешно отвечала:

– Я рвала ягоды.

– Сырые-то? ай-ай-ай!

И Федор Андреич покачал головой, взял Аню за руку и пристально глядел ей в глаза. Она покраснела как мак, потупила глаза, и сердце у ней застучало от страха. Она страшилась, что он видел ее у окна, где был заключен Петруша.

– Вы любите меня? – протяжно спросил Федор Андреич...

– Да-с... очень... – не вдруг проговорила Аня.

Это вызвало недоверчивую улыбку на губы Федора Андреича. Он наставительным голосом сказал, держа ее за руку:

– Вы уж большая девица: вам не следует вставать до свету, чтоб болтать с глупым мальчишкой, которому надо учиться. Все эти шалости вчера и сегодня нейдут к вам... но бог с ними. Вы, верно, знаете, к кому он изволил писать письмо, а?

Аню как будто бы жгли на медленном огне. Она обрадовалась бы, если б пол обрушился и поглотил ее, лишь бы не чувствовать прикосновения горячей руки, которая жгла ее, и пронизательных сверкающих взглядов Федора Андреича.

– Что же вы? вы, как и он, молчите?

– Я ничего не знаю-с! – заплакав, отвечала Аня; ей было страшно.

– Я ждал этого! – с сердцем сказал Федор Андреич и с силою сжал ее руку, отчего Аня слегка вскрикнула; он оставил ее и стал ходить взад и вперед по террасе.

Аня плакала.

– Братец, чай готов, – сказала Настасья Андреевна, появясь в дверях.

– Прикажете мне сюда подать! – отрывисто отвечал ей брат и продолжал ходить.

– Извольте принести чашку! – обратясь к Ане, сказала Настасья Андреевна, и когда девушка скрылась, она поспешно продолжала: – Братец, простите Петрушу: он и так довольно наказан.

– За его упрямство ему еще не то будет! не просите!.. Я его не прощу!.. – отрывисто, сердитым голосом сказал Федор Андреич.

– Это несправедливо! всё одного наказывать, в то время как другая во сто раз более виновата.

– Да вы не знаете, что он сделал, и заступаетесь. Он упрямый мальчишка!

– Всему научился у ней; прежде он не был таким. Я, я никогда не взяла бы в дом такую упрямую девчонку; она его всему научает: он еще дитя, – с горячностью говорила Настасья Андреевна.

– Хорошо дитя!.. но прошу таких глупостей не говорить в другой раз.

Аня слышала обвинение себе. Оскорбление, это чувство, доселе ей неизвестное, обхватило ее; она вся задрожала, хотела говорить, но не могла, – хотела плакать, но слезы душили ее; поставив чашку на перилы террасы, она кинулась в сад. Сумерки мешали видеть лицо Ани; однако Федор Андреич вернул ее, заметив, что в саду сыро. Аня ушла в залу и, сев у окна, сжала свою голову руками, облокотись на подоконницу. Она оставалась в этом положении, пока не почувствовала легкого удара по плечу. Старичок стоял возле нее и тихо сказал ей:

– Что с тобой?.. не слышишь, что Федор Андреич тебя зовет?

Аня очень удивилась, что чай был убран и зала темна.

– Иди же читать газету, – с удивлением повторил старичок.

Внучка как бы машинально повиновалась: она вошла в гостиную. Свет свечей резал ей глаза. Федор Андреич сидел один на диване у круглого стола, покуривая трубку. Аня молча села, взяла газету, лежавшую на столе, и стала читать. Но она читала так рассеянно, что Федор Андреич заметил ей, что она, верно, разучилась читать, и приказал прекратить чтение.

Через полчаса в гостиной старичок, храня глубокое молчание, играл в карты с Федором Андреичем, а его сестра расхаживала по террасе, пол которой очень сильно скрипел. Дверь на террасу была раскрыта. Аня сидела с работой в руках возле старичка, но поминутно задумывалась; стук карт по столу заставлял ее вздрагивать, и она обращалась к своей работе.

Вечер был тих, свечи горели ровно. Вдруг посреди глубокой тишины послышался звонкий голос, полный грустной мелодии. Он пел русскую песню:

Не одна-то во поле дороженька...

Шаги на террасе замолкли, Аня оставила шитье; играющие в карты и все вслушивались в пение.

– Кто это распевает в саду? – с удивлением спросил Федор Андреич и вдруг, усмехнувшись, продолжал:– А, это, верно, он! Слышите, Настасья Андреевна, каким соловьем заливается ваш баловень?

И он стуком карт как бы старался заглушить пение. Оно было так грустно, что у Ани показались слезы на глазах, а старичок сделал ренонс. Последнее очень рассердило Федора Андреича, и он, поворчав на старичка, крикнул своей сестре:

– Да скажите, чтоб он перестал петь.

Пение через минуту затихло.

Подали ужин. Настасья Андреевна, несмотря на свой обычный аппетит, ничего не ела. В половине ужина она сказала:

– Позвольте, братец, послать ему туда ужин.

– Сделайте одолжение! Иван! отнеси Петру Федорычу стакан воды и черного хлеба.

На глазах Настасьи Андреевны показались слезы, и она с упреком взглянула на Аню, которая печально сидела возле своего дедушки. После ужина Федору Андреичу вздумалось продолжать игру. Аня, сказав, что у ней болит голова, простилась с играющими, чтоб идти спать; но вместо своей комнаты она очутилась в саду и, бросив горсть песка в закрытое окно кабинета, нетерпеливо глядела на него. Петруша открыл окно, Аня произнесла:

– Тс!

– Аня, ты? – спросил Петруша, всматриваясь в темноту сада.

– Я, я, Петруша!

– Смотри, чтоб тебя не увидели.

– Нет: он играет в карты с дедушкой, а она говорят с поваром... Петруша, нельзя ли мне вскарабкаться к тебе?

– Высоко; впрочем, вскочи на карниз: я поддержу тебя.

И Петруша, свесившись из окна, протянул руки. Аля подпрыгнула, ухватила за них и, как кошка цепляясь по стене, стала одной ногой на карниз и, локтями придерживаясь на оконнице, находилась почти в висячем положении.

– Не упади! – заметил Петруша; и он придерживал ее.

Аня, указывая на стакан воды и хлеб, стоящий у окна, сказала:

– Ведь это он тебе выдумал такой ужин.

И, вынув из кармана своего платья кусок жаркого и белого хлеба и подавая Петруше, прибавила:

– А я вот что тихонько для тебя спрятала.

Петруша как бы нехотя стал есть; но по мере каждого куса он ел с большей и большей жадностью.

Аня глядела на него.

– А какой соус был сегодня за обедом? – жуя, спросил Петруша.

– Твой любимый.

– Ах, жаль! вот ты бы мне его принесла.

– Очень ловко! соус в карман положить! – смеясь, подхватила Аня. – Я и так боялась, что заметят меня. Ты знаешь, как Настасья Андреевна глядит за мной.

– Что она, рада, что я наказан?

– О нет! даже не ужинала.

– Вот хвастунья-то! а как уж грозила мне, как будто в самом деле злая.

– Она тебя любит, Петруша.

– Да я-то ее не буду любить, если она станет привязываться к тебе.

– Ах, Петруша! выпустят ли тебя завтра? мне так скучно.

– Пусть лучше меня продержат здесь с неделю, только бы отвезли в город и отдали учиться.

– Надо проситься.

– Хочет, чтоб я сказал, к кому я написал письмо, когда я сам не знаю!

– Скажи, что к Танечке.

– Ишь какая добрая! чтоб он пожаловался на нее! Лучше я скажу – к тебе.

– Изволь: я согласна! пусть меня наказывают, только бы тебя простили.

Голос у Ани задрожал, и она заплакала.

– Аня, что ты, о чем плачешь? – с участием спросил Петруша.

Плача, Аня отвечала:

– Настасья Андреевна уверяла его, что я всему виновата и что учу тебя лгать ему...

Аня, рыдая, склонила голову на окно. Петруша с сердцем топнул ногой и, наклонясь к Ане, сказал:

– Полно, не плачь: когда я стану учиться, я не позволю тебя так обижать.

В это время голоса за дверьми заставили их вздрогнуть. Локти у Ани соскочили; она скатилась вниз и, чуть не упав, пустилась бежать к себе в комнату.

Петруша долго не спал и видел, как Федор Андреич просидел всю ночь в креслах у окна, а утром он увидел его в постели во всей одежде.

На другое утро Аня, как ни хитрила, чтоб скрыть свои руки, расцарапанные при падении, но их тотчас заметил Федор Андреич и, сказав: «Куда вы это лазить изволили?», погрозил ей пальцем. За обедом он, неожиданно для всех, объявил, что завтра утром повезет Петрушу в город, что ему нечего делать в деревне.

Настасья Андреевна давно знала, что должна расстаться когда-нибудь с своим любимцем; однако это ей не помешало измениться в лице.

Селивестр Федорыч не доел жаркого и с ужасом глядел на хозяина; его жена закашлялась, как обыкновенно с ней случалось при всяком волнении. Федор Андреич, как бы заметив это, сказал учителю:

– Вы можете остаться у меня, пока не сыщете места.

Учитель встал и отвесил поклон, его жена сделала реверанс, и с новым аппетитом Селивестр Федорыч доел свое жаркое и взял двойную порцию пирожного, – верно, за своего ученика, которому в этот день отнесли обед в кабинет.

В доме сделалась суматоха. Настасья Андреевна на одной кладовой перебегала в другую, считала белье, и какие хитрости ни употребляла, чтоб проникнуть к своему любимцу, – всё рушилось о железную волю ее брата.

Ане тоже не было случая переговорить с Петрушей, потому что Федор Андреич целый день сидел у себя в кабинете, а когда смерклось, посадил ее читать. Ужин был подан ранее обыкновенного, и, прощаясь, Федор Андреич объявил, что поедет в город с Петрушей после завтрака.

Настасья Андреевна с вечера заказала любимые кушанья Петруши для завтрака и не очень покойно спала эту ночь.

Глава VII

Отъезд

Утром, собравшись к чаю, Настасья Андреевна спросила лакея, стоявшего у двери:

– Что, встал барин?

– Никак-с нет!

– Спит? – с удивлением поглядев на лакея, заметила Настасья Андреевна.

– Никак-с нет! – поспешно отвечал лакей.

– Что ты это зарядил свое «никак-с нет»! Поди, проси кушать чай.

И она стала заваривать чай.

Лакей не двигался с места и, запинаясь, сказал:

– Да... они-с в ночь изволили уехать-с!..

Все присутствующие недоверчиво глядели на сконфуженного лакея.

– Как, уехали?! а Петруша? – воскликнула Настасья Андреевна.

– Они-с тоже! – пугливо глядя на хозяйку, отвечал лакей.

– Как же ты меня не разбудил? – закричала Настасья Андреевна.

– Очень крепко запретил барин никого не беспокоить-с.

Настасья Андреевна опустила в изнеможении на стул, а все присутствующие менялись удивленными взглядами и пожатием плеч, казалось лилась способность говорить. Посреди-то этой тишины со стола зажурчали ручьи воды. Настасья Андреевна забыла закрыть кран у самовара, заваривая чай. Все заахали, засуетились вокруг стола. Настасья Андреевна шумела больше всех, выбрав всех, начиная от Ани до жены учителя... Когда привели всё в надлежащий порядок и все опять уселись по своим местам за чай, на каждом лице заметно было напряженное усилие разгадать причину неожиданного отъезда хозяина и похищения Петруши.

Селивестр Федорыч находился в волнении, особенно подозрительном при его глубокомысленной неподвижности. Он напевал старичку обидчивым голосом:

– Что же, мной были недовольны, что ли? разве они не знают, что я семерых приготовил к экзамену?

– Уехал! – пробормотала Настасья Андреевна, неопределенно смотря на самовар.

– Не дал ни с кем проститься! – покачивая головой, в свою очередь рассуждал старичок.

Настасья Андреевна, услышав его, подняла голову; глаза ее запылали гневом, и она, задыхаясь, отвечала старичку:

– И даже не дать проститься с той, которая ему заменяла мать!

Руки ее судорожно сжались, и она тихо произнесла, как бы рассуждая сама с собой:

– Кажется, я терпела; но этот поступок...

– Он, верно, боялся слез? – заметил старичок.

– Ах, боже мой! да что я за дура? неужели я стала бы плакать, если его повезли бы учиться! Я давно просила его позаботиться о нем. А тут вдруг, как преступника, засадили в комнату и ни с кем не дали проститься – увезли.

– Круто поступил! – печально сказал старичок.

– Не круто... нет... это просто жестоко! – воскликнула Настасья Андреевна и, как бы испугавшись своих слов, огляделась кругом. Но, встретив сухую фигуру Селивестра Федорыча, она видимо обрадовалась и продолжала, не понижая голоса: – Это всё вы, вы виноваты: вам только бы сидеть у себя да нежничать с вашей женой!

Учитель разгорячился от несправедливых упреков Настасьи Андреевны и с несвойственным жаром сказал:

– Помилуйте, Настасья Андреевна! я обязанность свою исполнял как следует: я занимался с ним ровно восемь часов в сутки, по десять предметов проходил каждый день. Слава богу, я знаю, как должно исполнять свой долг; у госпожи Ломаковой я пятерых приготовил в...

– Убирайтесь вы со своими Ломаковыми! Вы за Петрушей не смотрели, не смотрели! – кричала всё сильнее Настасья Андреевна.

Учитель обижался и ко всем обращался с вопросом: «Чем же я-то виноват?»

– Я бы вас дня не стала держать! вот как вы правы! – произнесла иронически Настасья Андреевна и вышла из залы, захлопнув с силою дверь.

– Что я такое сделал? – жалобно спросил Селивестр Федорыч, обращаясь к старичку, который отвечал ему:

– И, батюшка! полноте! не видите вы, что ли, как она огорчена? Всем поровну досталось от нее сегодня.

Учитель задумался, а его жена не спускала глаз со своего мужа; ее била лихорадка, и слезы текли по щекам.

– Не плачьте! – с участием шепнула Аня, подходя к жене учителя, которой, казалось, только не доставало этого, чтоб разрыдаться.

– Это, это что? – спросил учитель, глядя с удивлением на свою жену.

– Очень просто: ей больно, что на вас рассердилась Настасья Андреевна, – отвечал старичок.

Но жена учителя уже не плакала и, сделав реверанс стулу, на котором сидела Настасья Андреевна, вышла первая из залы, а за ней и муж.

– Аня, пойдем погулять в сад: здесь что-то душно! – вставая со стула, сказал старичок.

Дедушка и внучка, оба грустные, пошли в сад. Усадив старичка в беседку, Аня пустилась бежать к мостику, но скоро остановилась и пошла лениво; мимоходом и как бы с досадою щипала листья с кустов и бросала на дорожку. Подойдя к молоденькой березе, у которой она недавно была с Петрушей, она остановилась перед ней и долго оставалась в раздумье. Потом, вынув из кармана перочинный ножичек, она вырезала число и год на дереве.

Долго она ходила по саду, как бы кого-то всё искала, – была у речки, пробовала кататься на лодке, и видно было, что ей неловко и грустно.

Она возвратилась в беседку и нашла старичка сладко спящим на скамейке. Сорвав огромную ветвь акации, она села возле него и стала обмахивать мух с лица спящего, пристально глядя ему в лицо. Мысли ее обратились к прошедшему – к той веселой и свободной жизни, какую она вела у доброго старичка: невольно родилось сравнение с теперешней жизнью. Она припоминала ту легкость на душе, когда, бывало, усевшись между двумя старичками под вечерок, она читала им романы, как потом она им разливала чай и как весело ей было ложиться спать. И когда дошла она до смерти бабушки, сердце у ней сжалось и вдруг пришла ей мысль: что, если и дедушка умрет, с кем она останется? Это так испугало Аню, что она разбудила старичка. Открыв глаза, он пугливо спросил:

– Что тебе, Аня, что?

– Ах, дедушка, мне скучно! – отвечала внучка.

– Что же мне делать, голубушка моя! – протирая глаза, ласково отвечал старичок.

– Не спите!

– Да ведь так только вздремнул.

И он сладко зевнул.

– Ну хотите, я принесу сюда шашки, и мы будем играть.

– Ты разве умеешь?

– Умею: недаром же я сижу всё возле вас, как вы играете с ним.

– Ну давай!

Аня побежала к дому и в аллее видела Настасью Андреевну, которая расхаживала скоро и поминутно подносила к глазам платок.

Под вечер Аня стала веселее, потому что целый день провела одна с дедушкой: всё было тихо, никто ее не бранил, никто на нее враждебно не глядел; она говорила, что ей приходило в голову, ела за столом, сколько ей хотелось, потому что Настасья Андреевна не сходила сверху со дня отъезда Петруши.

Аня, пользуясь этим, отобрала себе пробор, завила пукли и возилась с ними по нескольку часов в день. Стоя перед зеркалом, она напряженно рассматривала себя, будто совершенно постороннюю особу, и наконец решила, что она недурна собой, хоть и желала много перемен в своем лице. Во-первых, более бледности и таких огромных глаз, что верно б сама испугалась, если б желание вдруг исполнилось.

В несколько дней она как будто возмужала. Движения ее стали плавны, она не бегала по саду, а тихо расхаживала по дорожкам; даже ее мысли вращались на совершенно новых предметах.

В ожидании ужина усталая Аня после продолжительной прогулки отдыхала на диване в гостиной; у стола читал старичок газету. Дверь была открыта на террасу; но Ане было жарко: она откинула густые пукли от разгоревшихся своих щек, сняла пелеринку с своих пышных плеч и оставалась в полулежачей позе.

– Не закрыть ли дверь на террасу? – смотря на пылающие щеки своей внучки, спросил старичок.

– О нет! мне и так жарко; я далеко зашла, всё думая да думая, потом бегом бежала домой.

– Дурочка, о чем же это ты так думала?

– О Петруше! я ужасно рада, что его увезли отсюда.

– Чему же ты рада? – с удивлением спросил старичок.

– Да помилуйте! ну что ему было здесь-то делать, шалить?..

– Умно рассуждаете! – раздался голос: в дверях террасы стоял Федор Андреич.

Аня и старичок очень испугались неожиданного появления его и стали его расспрашивать, как он явился.

– Просто всего изломало меня от езды. Я вышел у лесу из коляски да и пришел пешком, – ласково пожимая руку у старичка, отвечал Федор Андреич, и, обратясь к Ане, он продолжал: – Что же вы не здороваетесь со мной? ведь мы давно не видались.

И он поцеловал ее в лоб и погладил по плечу.

– Уф! – упав на диван, произнес Федор Андреич и, проведя рукой по лбу, вдруг пугливо оглядел комнату и поспешно спросил: – А где сестра?

– Наверху-с! – отвечала Аня.

– Здорова?

– Кажется! – неутвердительно отвечала Аня.

Но Федор Андреич, не слушая ответа, обратился к старичку и, потирая руками, спросил:

– Ну а как вы без меня проводили время?

– Да вот, как видишь, скучали, – отвечал старичок, и говорил искренно, потому что без карт и партии шашек ему страшно длинны казались вечера.

– А вы? – обратясь к Ане, спросил Федор Андреич.

– Да вот играла со мной в шашки: ведь она умеет играть! – с гордостью сказал старичок.

– Хорошо, сыграем... сыграем...

И Федор Андреич с удивлением глядел на Аню и продолжал:

– Да что это вы как-то нарядны сегодня?

На Ане было ее будничное ситцевое платье с открытым лифом и рукавами; но несколько диких роз приколото было к корсажу. Пукли, падавшие на ее плечи, при слабом освещении, делали ее туалет очень роскошным.

Аня сконфузилась и поспешила накинуть на плечи, пелеринку; закинув пукли назад, она спрятала их под гребенку. Всё это было сделано необыкновенно быстро; но, срывая свой букет с лифа, она слабо вскрикнула, уколовши руку.

Федор Андреич с упреком сказал:

– К чему всё это вы измяли! Я только так заметил, вот вы и наказаны...

И, слышав шаги в зале, он подмигнул старичку, прибавив шепотом: «Идет!»

Настасья Андреевна вошла в гостиную; брат поздоровался с ней и, подавая ей письмо, сказал:

– Петруша вам всем посылает поклон, а вам письмо.

Настасья Андреевна тут же, распечатав его, стала читать; но руки у ней задрожали, она стала шуриться и наконец быстро вышла из гостиной.

За ужином Федор Андреич поразил всех любезностью своей; он даже пожал руку учителю и его жене и отвечал поклоном на ее скорый реверанс. Лица у всех были веселы, кроме Настасьи Андреевны, которая после ужина объявила брату, что желает с ним переговорить.

– С большим удовольствием! – отвечал Федор Андреич; но его лицо противоречило словам.

Войдя в гостиную, Настасья Андреевна заперла дверь в залу, заглянула на террасу и, став посреди комнаты, молча глядела на брата, как бы не решаясь говорить. Но Федор Андреич не заметил этого и покурил свою трубку, делая кружочки из дыму.

– Братец! – дрожащим, но полным упрека голосом начала Настасья Андреевна.

Федор Андреич поднял голову и равнодушно посмотрел на сестру, которая раскрыла рот, чтоб говорить, и вместо того залилась слезами. Может быть, с детства он не видал ее плачущею; но он спокойно продолжал глядеть на сестру. Прошла минута в молчании. Федор Андреич первый нарушил его, сказав:

– Вы еще долго будете плакать?

– Вы... вы жестоко поступили со мной! – всхлипывая, отвечала ему сестра.

– Это в чем?... что увез шалуна?... не дал ему проститься ни с кем? – насмешливо спрашивал Федор Андреич и строго продолжал: – Мне нужно было проучить его – это ему было наказанием.

– Наказывая виноватого, вы забыли, что оскорбляете... – раздражительно перебила его Настасья Андреевна.

– Полноте! что за оскорбление! – нахмурив брови, резким голосом заметил ей брат.

Настасья Андреевна замолчала и кротко спросила:

– Петруша приедет после экзамена?

– Нет! я его намерен проучить за его упрямство, и он до Рождества не будет дома. Он это знает.

Настасья Андреевна гордо подняла голову и твердым голосом сказала:

– Братец, так я поеду в город к нему!

– Не нужно-с! – сердито отвечал Федор Андреич.

– Я... я завтра поеду! – отчаянным голосом сказала Настасья Андреевна.

Глаза ее засверкали и встретились с не менее блестящими глазами брата. Они переглянулись, как бы измеряя силу друг друга.

– Вы можете делать, что вам угодно! – вставая, холодно сказал Федор Андреич.

– Я еду! – пробормотала едва внятно Настасья Андреевна.

И они разошлись по разным дверям. Настасья Андреевна, уходя в залу, оглянулась на своего брата, который мерными шагами вышел на террасу.

Глава VIII

Гроза

Сборы к отъезду Настасьи Андреевны произвели большую суматоху в доме. Это был ее первый выезд из деревни с тех пор, как она родилась в ней. Сама она ходила как потерянная; ей было дико, что она пошла против воли Федора Андреича, которому с детства привыкла повиноваться. Но любовь к приемышу так была сильна в ней, что она не побоялась прогневить брата, лишь бы только повидаться с Петрушей, благословить его на новую жизнь и дать ему наставление, как вести себя в ней.

Накануне отъезда Настасьи Андреевны Аня всю ночь трудилась над письмом к Петруше, которое посылалось тихонько с человеком, сопровождавшим Настасью Андреевну. Много труда стоило Ане изложить письменно все происшествия после его отъезда. Она раз восемь переписывала письмо и наконец, рассердясь, запечатала его своим колечком.

Ключи были оставлены Федору Андреичу, а он передал их Ане, которая и заняла роль хозяйки.

Отсутствие Настасьи Андреевны ни на кого не имело грустного впечатления; напротив, все были веселы за столом, даже жена учителя решила говорить. Федор Андреич сам подчинился веселой молодой хозяйке, у которой были большие упущения по хозяйству; но детский испуг, вызвавший краску на щеки, без того уже розовые, и желание загладить предупредительностью ошибку – обезоруживали угрюмого хозяина и расправляли его нахмуренные брови.

Выдался день, что у Ани всё хозяйство шло наизворот, – Федор Андреич рассердился; хотя гнев его обрушился на повара, но Аня тихонько поплакала. Следы слез были открыты Федором Андреичем, и, вместо всяких упреков, он предложил ей ехать кататься.

Так как для живого характера Ани в деревне не было развлечений, то она с радостью приняла предложение и побежала одеваться.

Но туалет ее не был многосложен. Дорожного зимнего капора ей не хотелось надеть, а летней шляпки не было, и она, накинув белый кисейный вуаль на голову и взяв зонтик, сошла на крыльцо. Федор Андреич со старичком хлопотали около рысака, запряженного в длинные беговые дрожки.

– Вы не трусливы? – спросил Федор Андреич, садясь осторожно на дрожки и собирая вожжи.

– О нет! – гордо отвечала Аня.

– Помните, что ноги надо держать осторожнее, когда будем на гору въезжать.

– Я знаю-с, – садясь проворно, сказала Аня.

– Ну, пускай! – сказал Федор Андреич кучеру, державшему под уздцы лошадь, которая быстро рванулась с места.

– Тс-тс! – произносил Федор Андреич, осаживая ее и заставляя идти шагом, пока раскрывали ворота.

Старичок с беспокойством следил за лошадью и, когда выехали из ворот, закричал:

– Аня, ноги, ноги! братец, осторожнее!

Аня весело кивала головой, как бы поддразнивая старичка, который долго оставался на крыльце, приложив руку к глазам.

Лошадь горячилась; но Аня была совершенно покойна, не потому, что была уверена в искусстве Федора Андреича, а скорее по детской беспечности и желанию чего-нибудь нового. Проезжая деревню, Аня радушно отвечала на низкие поклоны баб и мужиков, высыпающих смотреть на барина.

– Ну, куда хотите? – спросил Федор Андреич, выехав за околицу.

– В лес! ах, пожалуйста, свезите меня в лес! – отвечала Аня и несколько тише продолжала:– Мне говорили, что там много ягод!

– А кто это вам сказывал?

– Дуня!

– А-а-а!

Они ехали по узенькой дорожке, проложенной между золотистой рожью. Солнце начало садиться и, яркими своими лучами рассыпаясь по чистому небу, манило в бесконечную даль, где чернелся лес, сквозь который, как зарево пожара, просвечивалось оно. Дорога была гладкая. Федор Андреич усилил бег лошади и спросил Аню:

– Не боитесь?

– Нисколько! напротив, очень весело.

– Если так, то держитесь крепче: я пущу лошадь во всю рысь.

Аня слегка обхватила Федора Андреича рукой, а другою уцепилась за подушку дрожек.

– Крепче, крепче держитесь! – твердил Федор Андреич и пустил лошадь.

Лицо его ожило; он с напряжением следил за лошастью, прицеливая язык и, казалось, весь перешел в вожжи, которые держал, как ученый кучер.

Аня же, поджав свои ноги, держась за Федора Андреича и приложив свою голову к его плечу, звучно смеялась и в то же время щурилась от быстроты мелькавших перед ней колосьев ржи.

Въехав в лес, Федор Андреич утишил бег лошади, повернул голову к Ане и, поцеловав ее в лоб, спросил:

– Ну что?

От неожиданной ласки Аня покачнулась назад; дрожки, наехав в ту минуту на кочку, подбросили ее, как мячик, кверху, и она очутилась на земле.

Страшный крик вырвался из груди Федора Андреича. Он бросил вожжи, соскочил с дрожек и кинулся к Ане, которая уже стояла на ногах и, дрожа всем телом, силилась улыбаться. Она не столько испугалась своего падения, сколько крика Федора Андреича и его бледности.

– Не ушиблись ли вы? – нетвердым голосом произнес Федор Андреич.

– Мне ничего! – пугливо отвечала Аня, очищая свое платье и собирая свои волосы, рассыпавшиеся при падении. Она стала искать гребенку свою, но собрала только мелкие куски и, держа их в руках, со слезами глядела на них.

Федор Андреич, заметив сломанную гребенку, рассердился:

– Вот ваши шалости, вот до чего они вас доводят! Ну что вы теперь будете делать с вашими волосами?

Аня поспешно разняла их на две косы и стала заплетать.

Федор Андреич молча ждал окончания, и когда Аня, забросив свои косы назад, взглянула на него, гнев уже исчез с его лица. Она робко сказала:

– Я вас рассердила?

– Признаюсь, вы хоть кого из себя выведете.

Тут только он хватился лошади; но ее не было видно.

– Боже мой! где она? чтоб не сломала себе ноги! – в отчаянии воскликнул он и чуть не бегом пустился, свистя пронзительно.

Невдалеке послышалось ржание. Федор Андреич пошел тише и свободно вздохнул. Аня первая открыла дрожки, которые, зацепившись колесом за молоденькое дерево, стояли боком, а лошадь спокойно щипала дубовые листья с отростков и, махая хвостом, отгоняла докучливых комаров, усевшихся у ней на спине.

Федор Андреич заботливо осмотрел лошадь и дрожки и, найдя, что всё было в целости, вывел лошадь на дорогу и сел на дрожки, сказав Ане:

– Извольте садиться; теперь уж некогда, делать прогулки: пора домой.

И он посадил Аню вперед и, когда лошадь тронулась с места, прибавил:

– Не бойтесь: я тихо поеду; но всё-таки держитесь за меня, а то опять упадете!

– Я уж не упаду-с, – отвечала Аня, уклоняясь.

– Вздор! сидите смирно! – резко сказал Федор Андреич.

И он пустил лошадь маленькой рысью.

По лицу Ани можно было заключить, что ей не нравилась заботливость Федора Андреича; она кусала губы, вертелась и вдруг вскрикнула:

– Стойте, стойте!

Федор Андреич остановил лошадь и тревожно спросил:

– Что такое?

Аня соскочила с дрожек и, сказав: «Я забыла зонтик», пустилась бежать назад.

– Экая шалунья! – сердито сказал Федор Андреич и крикнул громко:– Назад! назад!

Аня остановилась и тихо пошла к дрожкам.

– Назад! – повторил Федор Андреич, и когда Аня подошла к нему, он спросил своим сердитым голосом, страшно хмуря брови: – Куда вы так бежали? а?

– Взять зонтик!

– И для такой дряни стоит бежать за версту?.. Садитесь! – повелительно прибавил Федор Андреич.

Аня села, и ей стало страшно одной в лесу с сердитым Федором Андреичем, у которого лицо никогда еще не казалось ей так угрюмо, а глаза так блестящи, как теперь. Сердце у ней застучало, и она готова была бежать от него.

– Держитесь крепче за меня! – отрывисто сказал Федор Андреич, давая свободу лошади; но Аня не решалась дотронуться до его руки.

– Что же вы боитесь! я не укушу! – раздражительно заметил Федор Андреич.

Подъезжая к дому, он насмешливо спросил:

– Ну что, съел я вас?

И когда старичок встретил их, Федор Андреич сказал:

– Ну трусиха же ваша внучка, чуть шеи не сломала.

– Господи! как? что? – тревожно воскликнул старичок, обращаясь к своей внучке, которая, поцеловав его крепко, отвечала:

– Ничего, я не ушиблась!

– Какая жара сегодня! – заметил Федор Андреич и, сев на крыльцо, вытер платком лицо, горевшее, как раскаленное железо.

Аня о чем-то задумалась и машинально следила за лошадью, которую кучер провожал по двору.

– Уж не изволите ли вы сердиться? – спросил Федор Андреич, окинув Аню пристальным взглядом.

– Я устала, – ответила она и ушла.

– Ее надо почаще брать с собой... ужасная трусиха, да и моцион ей нужен! – провожая глазами Аню, заметил Федор Андреич.

– Странно! а на вид такая храбрая, – в недоумении отвечал старичок. – Спасибо, – с чувством прибавил он, – спасибо, что ты о ней заботишься, как родной отец.

– Разве я ей не родня? – обидчиво сказал Федор Андреич.

– Больше, чем родной! Но она девушка добрая: она оценит твоё расположение к ней. Мы чувствуем всё, всё, что ты для нас делаешь.

И у старичка слезы дрожали на ресницах.

– Что это! как вам не стыдно! Я, слава богу, и чужих пригрел в своем доме. Вы увидите впоследствии мое расположение к вам. Я не люблю вполонину делать добро. Вы стары, а ей нужна опора.

– Я даю тебе право, или, лучше, ты его уже приобрел своими благородными поступками: устрой ее судьбу.

После этого разговора они пошли в гостиную и застали Аню в слезах, сидящую на ступеньке террасы.

Гнев охватил Федора Андреича; он заходил по террасе, бормоча: «Вот мило – плакать каждую минуту!»

И потом требовал, чтоб она сказала причину.

– Я сломала гребенку и потеряла зонтик! – всхлипывая, отвечала Аня.

– И вы из таких пустяков плачете, как будто вас теснят здесь, а?

– Она глупенькая! – перебил старичок.

– Зачем же она не смеется, а чуть что-нибудь – хнычет? Знайте, сударыня! я вам в последний раз говорю, что не терплю, когда в моем доме, плачут. Слышите?

И Федор Андреич пошел в сад.

– Ну что ты его сердишь? – садясь к Ане, сказал старичок.

Внучка, положив ему голову на колени, продолжала плакать.

– Перестань, Аня; ну стоит ли о гребенке так плакать.

– Ах, дедушка, я совсем не о том плачу!

– Так о чем же?

– Я его боюсь.

– Чего же его бояться? что ты? он так нас любит.

– Не знаю; я его боюсь.

И она крепко прижалась к старичку и плакала; старичок, не зная, чем утешить ее, сказал:

– Посмотри-ка, Аня, какая бабочка красивая летит, – чудо!

Аня заплаканными глазами взглянула на порхавшую бабочку, долго следила за ней и наконец пустилась ее ловить.

Старичок свободно вздохнул и, улыбаясь, глядел на бегающую свою внучку, бормоча:

– Дитя еще; немудрено, что боится его.

После чаю Федор Андреич пожелал сыграть с Аней партию в шашки. Они уселись в гостиную.

– Ну-с, почем прикажете? – шутливым голосом спросил своего партнера Федор Андреич, расставляя свои шашки.

– На деньги я не хочу играть, – сухо отвечала Аня.

– Отчего?

– У меня их нет.

– Выиграете, так будут.

– Нет! я не хочу! – капризным голосом отвечала Аня и, перестав расставлять шашки, сложила руки.

Федор Андреич нахмурил брови.

– Нехорошо, нехорошо! – строгим голосом заметил Ане старичок, поставил за нее шашки и с несвойственной ему строгостью сказал:– Играй!

Аня не без удивления повиновалась старичку.

Игра длилась до ужина, и Аня осталась победительницей, выиграв несколько партий у Федора Андреича, который принес из кабинета двадцатипятирублевую бумажку и, подавая ей, сказал:

– Вот теперь вы можете не плакать о ваших потерях. Пошлите в город нарочного, чтоб он вам купил гребенку.

– Много! – заметил старичок.

— Надо же ей иметь свои деньги: она не дитя! – сердито сказал Федор Андреич и, обратясь к Ане, которая, покраснев, не брала денег, прибавил:– Возьмите же!

И он поспешно отошел от стола.

– Возьми скорее, а не то опять рассердится, – шепнул старичок, сунув в руки Ане бумажку.

К самому ужину приехала Настасья Андреевна. Она была не в духе. Усталость от дороги, холодная встреча брата, полное равнодушие его к Петруше, о котором она рассказывала, – всё обрушилось на Аню, которая, к довершению беды, имела неосторожность занять место Настасьи Андреевны за столом. Настасья Андреевна стала придираться к ней за разные мелочи и наговорила ей довольно колкостей. Аня, не видав ее давно, почувствовала более храбрости и оправдывалась очень смело. И когда кончился ужин, Настасья Андреевна подняла страшный шум. Брат положил конец, послав Аню спать, а Настасье Андреевне строго заметив:

– Если кто виноват в беспорядках в доме, так, я думаю, вы, потому что хорошая хозяйка не должна бросать всё, чтоб скакать к упрямому мальчишке.

Эти слова глубоко поразили Настасью Андреевну. Она всю жизнь свою посвятила хозяйству, гордилась титулом хорошей хозяйки и воображала, что никем не может быть замечена в доме брата. Федор Андреич подобными упреками довел ее до того, что она созналась в своем проступке и попросила у него прощенья.

Аня в то время, трепеща от страха и радости, читала письмо от Петруши, который также подробно писал ей о своем положении и молил ее при каждом случае писать к нему.

Переписка завязалась, потому что случаев было много пересылать письма. Беспрестанно ездили подводы в город за разными необходимостями, которых оказывалось очень много с тех пор, как Петруша жил в городе; узлы разных варений и солений отсылались к нему каждый раз заботливой хозяйкой.

Боясь Настасьи Андреевны и ее брата, Аня придумала следующую хитрость. Петруша должен был писать свои письма не только на имя дедушки, но даже всё письмо будто бы к нему, а уж она должна была понимать, в чем дело. А так как дедушка был слаб зрением, и притом от слабости у него дрожала рука, то Аня предлагала свои услуги и писала под его диктовку, а чаще сочиняла всё письмо сама. Хитрость удалась: никто не подозревал, что Аня с Петрушей ведут переписку.

Игра в шашки с Федором Андреичем вменилась в обязанность Ане. Впрочем, скука выкупалась частыми выигрышами: у Ани накопилось до ста рублей – сумма огромная, на которую она не могла придумать, что бы купить.

Прогулки также повторялись почти каждый день, но были для Ани невыносимы, потому что ей приходилось быть одной с Федором Андреичем: Ане было неловко с ним говорить, а он сердился, что она ничем не довольна.

Раз, в назначенный час, дрожки стояли уже у крыльца, когда начали собираться тучи. Настасья Андреевна и старичок заметили Федору Андреичу, что ехать не совсем приятно: сейчас пойдет дождь. Но их замечание только рассердило его, и он ускорил свой отъезд, побранив Аню за медленность. Аня чуть не со слезами села на дрожки, потому что лицо Федора Андреича было мрачнее самой тучи, медленно расстилавшейся по небу. Душный перед грозой воздух давил грудь Ани. Они поехали молча.

Послышались вдали глухие удары грома. Аня сказала:

– Вы слышите? гром!

Федор Андреич, вместо всякого ответа, пустил лошадь во всю рысь. Он о чем-то всё думал и часто пугливо глядел на Аню, как будто дивился присутствию девушки, которая вызывала его из задумчивости каким-нибудь движением.

Стал накрапывать редкий, но крупный дождь. Аня опять нарушила молчание, заметив, что идет дождь.

Но ничто не заставляло Федора Андреича повернуть назад; он ехал всё прямо, как бы без всякой цели. Удары грома становились всё чаще и явственнее, а небо всё облегло тучами, так что прежде времени совершенно стемнело. Молния быстро, как змея, взвилась по небу; лошадь приостановилась. Федор Андреич вздрогнул, а Аня слегка вскрикнула. Не успели они прийти в себя, испуганные молнией, как оглушительный раскат грома разразился над их головами. Лошадь рванулась и помчалась. Аня обхватила за шею Федора Андреича и закрыла глаза.

Долго мчала лошадь Федора Андреича; он потерял фуражку; жесткие с проседью его волосы стояли дыбом, глаза страшно сверкали, а густые брови совершенно сдвинулись. Аня, вся вымоченная дождем, дрожала не столько от холоду, сколько от страха. Федор Андреич остановился в первой деревне, чтоб переждать дождь и дать ей обсушиться. Они вошли в пустую избу, только что выстроенную. Аня должна была, за неимением другого платья и белья, надеть русскую рубашку и сарафан, принесенные хозяином избы, и превратилась в красивую крестьянку.

Заботы Федора Андреича об Ане исполнялись как бы с сердцем, и малейшее уклонение от них с ее стороны раздражало его.

На дворе стояла такая буря и темнота, что не было возможности пуститься в дорогу. Федор Андреич после чаю приказал принести сена и сам приготовил постель для Ани. Чистое полотенце в головах служило вместо подушек. Аня с радостью бросилась на сено, потому что ей так было тяжело и страшно.

Ветер выл на дворе, и дождь стучал в окна мрачной избы, освещенной одной сальной свечой, перед которой сидел Федор Андреич. Лицо его было красно, против обыкновения, глаза сверкали и были устремлены постоянно на Аню, которая притворилась спящею.

Настала глубокая ночь. Федор Андреич только тогда изменил свое положение и, встав со скамьи, заходил по избе, – то подходил к окну и смотрел в него, нетерпеливо барабана по стеклу, то подходил к Ане и, наклонясь, глядел на нее, верно желая знать, спит ли она. Тогда у бедной Ани замирало сердце, и дыхание останавливалось.

Наконец он потушил свечу. Аня чуть не вскрикнула: пока она видела знакомое лицо, ей не так было страшно, но тут ей показалось, что она лежит в могиле. От малейшего шелеста волосы дыбом подымались у ней, и холодный пот выступал на лбу. Она напрягала зрение, чтоб различить что-нибудь в темноте. Но страх ее так увеличился, что ей стали казаться какие-то видения. Она творила молитву, и вдруг ей показалось, что она уже чувствует чье-то дыханье. Аня дико вскрикнула.

– Что! что такое? – спросил Федор Андреич.

– Мне страшно! огня зажгите, огня! – говорила Аня, смешивая слова с рыданиями.

– Господи! что это за детство! не даст заснуть! где вы?

И Федор Андреич приблизился к ней и, взяв ее за руку, сказал:

– Ну чего вы испугались?

– Зажгите огня: мне страшно! – кричала Аня.

Огонь был высечен, и у Ани как бы отлегло на сердце. Федор Андреич, обводя свечой избу и остановясь на бледной и дрожащей Ане, сидящей в углу на сене, сердито сказал:

– Ну как вам не стыдно! точно дитя!

И, поставив свечу на стол, он бросился на скамью.

Аня только тогда задремала, как начало рассветать. Проснувшись утром, она прямо встретила глаза Федора Андреича, стоявшего перед ней; он сказал:

– Насилу-то проснулись! я вас будил. Вставайте: пора ехать домой.

Трудно описать тревогу, какую наделало отсутствие Федора Андреича и Ани. Всю ночь старичок и Настасья Андреевна не ложились спать, ожидая их каждую минуту.

При свидании с дедушкой Аня так обрадовалась, что долго душила его своими поцелуями. Федор Андреич остался очень недоволен беспокойством домашних об их отсутствии и сказал своей сестре:

– Вы воображали, что я должен скакать в бурю и рисковать сломать себе шею, чтоб поспешить к вашему ужину. Разве не могли без меня лечь спать?

Весь этот день он по-прежнему провел у себя в кабинете.

Глава IX

Бал

С переселением в город для Петруши открылась новая жизнь, не лишенная горя. Федор Андреич дал ему на содержание довольно незначительную сумму. Самолюбие не позволяло ему отставать от товарищей: скоро он наделал долгов; нужно было платить или задолжить вдвое. Петруша решился на последнее, хотя знал очень хорошо строгость Федора Андреича; но надежда на любовь Настасьи Андреевны немного успокаивала его. Однако, как ни была хороша и разнообразна жизнь между товарищами, Петруша скучал по деревенской жизни, по Настасье Андреевне, которую очень любил. Он также желал видеть Аню, которая своими письмами несколько напоминала ему его деревенскую жизнь.

Незадолго перед праздниками посылали нарочного в город, и Аня спешила окончить письмо к Петруше. Она сидела возле старичка, который дремал, и очень проворно скрипела пером. Она описывала свое нетерпение видеть его, разные сцены свои с Настасьей Андреевной, хвалила ее брата, рассказывая, как он за нее заступает иногда.

Она так была углублена в свое занятие, что не обратила внимания на замолкнувшие в зале шаги Настасьи Андреевны, которая, подкравшись сзади, через ее плечо схватила письмо.

Аня вскрикнула и, закрыв лицо руками, склонилась к столу.

Старичок вздрогнул и с удивлением смотрел на радостное лицо Настасьи Андреевны, которая, потрясая письмо в воздухе, сказала:

– Наконец я имею улику всем вашим козням! А, вы изволите вести переписку, отвлекать мальчика от наук, чтоб на него сердились, чтоб его наказывали, жаловаться на меня!

Лицо у ней покрылось яркой краской, и она с минуту читала письмо.

– Отлично! Прекрасно! вас обижают здесь... Вы поселяете раздор во всем доме. Но теперь всё выведено наружу, довольно вы хитрили, и вам придется снова нищенствовать, как прежде. Вам здесь более нет места!

И она вышла из залы.

Аня и старичок, как оглушенные громом, слушала Настасью Андреевну, и, когда она вышла, Аня с ужасом воскликнула:

– Господи, что нам будет!

– Чего ты испугалась! – весь дрожа, сказал старичок. – Ну есть ли правда в том, что нагородила глупая и дерзкая женщина?

– Неужели она в самом деле подозревает, что мы ссорим Петрушу с ним?

И Аня горько зарыдала.

– Полно! она погорячилась!.. Какие и против кого мы делали козни?

Как ни успокаивал старичок свою внучку, но ужас объял его при мысли, что если они должны будут оставить дом: куда ему деваться с внучкой?

В то же самое время в кабинете хозяина происходила не менее неприятная сцена. Торжественно войдя в комнату, Настасья Андреевна подала письмо своему брату, сидевшему за счетами, и радостно сказала:

– Наконец я нашла случай уличить и вывести всё наружу. Вот где источник всех неприятностей в доме... Читайте, и вы увидите, как опутывают неопытного мальчика, чтоб навлекать на него ваш гнев и самим выигрывать в ваших глазах. Я давно подозревала переписку старика с Петрушей. Я боялась за него.

Федор Андреич пробежал письмо; брови его нахмурились страшно; смяв письмо, он бросил его на пол, а сам, вскочив со стула, заходил по комнате.

В первый раз Настасья Андреевна обрадовалась признакам гнева в своем брате и продолжала тем же упрекающим голосом:

– Я вам всегда говорила, что Петруша не виноват. Вот как вам платят за вашу хлеб-соль. Они поселяют раздоры между...

– Какие раздоры? кто поселяет? – неожиданно остановись перед Настасьей Андреевной, грозно перебил брат.

– Братец! – пугливо пробормотала Настасья Андреевна, попятясь назад; но брат наступал с гневом и повторял:

– Говорите, кто... кто поселяет раздор, кто??

– Я ничего... – оторопев и запинаясь, бормотала Настасья Андреевна.

– Для чего же вы пришли сюда?.. для чего вы всё это наговорили?? какие раздоры?? – и несколько тише он прибавил: – Насчет глупого письма прошу не беспокоиться: я его не возьму к празднику.

– Боже мой, он опять виноват остался! – с ужасом воскликнула Настасья Андреевна.

И, полная гнева, она гордо сказала:

– Я вижу, братец, что вы опутаны кругом хитрой и лицемерной девчонкой.

– Замолчите!! – так сильно воскликнул Федор Андреич, что рамы задрожали в комнате.

И Настасья Андреевна кинулась в испуге к двери, на которую указал ей брат; но он остановил ее и с убийственной жестокостью сказал:

– Сохрани вас боже, если вы осмелитесь намекнуть ей о ваших глупых подозрениях.

Настасья Андреевна сделала умоляющий жест и, встретив сверкающие гневом глаза брата, с рыданием вышла из комнаты.

Аня и старичок немало были поражены молчанием с обеих сторон о письме. Одно их поразило – это отсутствие за столом Настасьи Андреевны и полное равнодушие ее брата, как будто они сговорились. Он был очень любезен с Аней и со старичком, припоминал свое житье в Москве и заключил следующими словами, обращенными к старичку:

– Я никогда не забуду всех одолжений ваших в то время. Они спасли меня, может быть, от многих несчастий. И, пока я буду жив, дом мой будет вашим.

Старичок до слез был тронут благодарностью Федора Андреича.

И когда дедушка и внучка остались одни, первый наставительно сказал:

– Нет, нам следует всё вытерпеть от нее. Бог с ней, он хозяин дома и не думает так об нас: зачем же нам подымать ссору между братом и сестрой...

Оставался один день до праздника, а за Петрушей не посылали. Из намеков Настасьи Андреевны Аня могла догадаться, что ее письмо тому причиной. Это ее ужасно опечалило: она так желала видеть Петрушу; к тому же посреди стариков Ане было очень скучно.

В первый день праздника – то было Рождество, – возвратясь после обедни, все сидели за чаем в глубоком молчании. Явился деревенский священник поздравить с праздником. Он отслужил молебен и с удивлением спросил:

– А где Петрушенька ваш? Я что-то его не вижу?

Настасья Андреевна с упреком посмотрела на брата, который покойно отвечал:

– В городе, батюшка!

– Как... в такой великий праздник и не в доме своих родных?! ведь вы его сыном своим признали! – воскликнул священник.

– Он наказан! – отвечал недовольным голосом Федор Андреич.

– Братец! простите его! – умоляющим голосом произнесла Настасья Андреевна и, обратись к священнику, в отчаянии прибавила: – Хотя вы, батюшка, попросите за него.

Старичок и Аня находились в сильном волнении.

– Что за такой превеликий грех, Федор Андреич, мог сделать он?

– Ослушание, батюшка!

– Братец, в чем же он вас послушался? – с упреком заметила Настасья Андреевна и прибавила, глядя на Аню: – Следовало бы наказать тех, кто не стыдится ссорить...

– Побойтесь бога! – воскликнул обиженно старичок.

И, с несвойственной ему горячностью, схватив Аню за руку и подведя к побледневшему Федору Андреичу, он сказал:

– Встань перед ним на колени и проси за того, за кого тебя оклеветали!

Аня, рыдая, упала на колени перед Федором Андреичем, который сердито поднял ее и с презрением произнес:

– Стыдитесь... разве вы способны!

Старичок, указывая на образ, торжественно произнес:

– Пусть он будет свидетелем, что ты не поселяла раздора.

Голос у старичка прервался, и он заплакал. Аня бросилась в объятия к нему и тоже зарыдала.

– Полноте, полноте! – повторял Федор Андреич, разнимая Аню и старичка.

И, поцеловав того и другую, он медленно произнес, смотря на свою сестру:

– Однажды навсегда требую от всех присутствующих здесь – ни одним словом, ни взглядом не обижать тех, кого я призрел в своем доме.

– Аминь! – заключил священник.

– В доказательство, что на меня никто не имеет влияния, извольте послать лошадей в город!

Настасья Андреевна от радости оторопела; Аня же с увлечением кинулась к Федору Андреичу и с жаром поцеловала его, после того сама сконфузилась и стояла, потупив глаза.

– В такой великий день помиритесь все, – сказал священник, смотря на Настасью Андреевну, которая подошла мерными шагами к брату и сказала:

– Простите меня, братец.

И они поцеловались.

– Простите нас, если мы невольно огорчили вас, – сказал старичок, подходя к Настасье Андреевне.

Все перецеловались, исключая учителя, стоявшего в продолжение всей сцены прижавшись в углу, и его жены, обильно проливавшей слезы.

– Да простит вас всех господь, и да снизойдет на ваши главы мир и тишина! – так заключил священник семейную сцену, после чего все свободнее вздохнули.

Приезд Петруши в деревню произвел всеобщую радость; даже Федор Андреич довольно ласково его принял, расспрашивал о его занятиях и жизни. Петруша вырос и возмужал в несколько месяцев, как его не видала Аня; он ей уже казался совершенным молодым человеком, а не тем Петрушей, с которым она любила бегать по саду и даже ссориться для разнообразия. Она вспомнила разговор на лодке, как Петруша доказывал, что, когда он поживет в городе, она к нему изменится: да, он был прав! Но Петруша так был рад возвращению своему в деревню, что Аня осталась для него всё той же Аней, и, только боясь гнева Настасьи Андреевны, он старался украдкой говорить с ней.

Накануне Нового года приехали гости к Петруше: Федя, бывший товарищ его детства, и Танечка, воспитанница Фединой матери.

После длинного и скучного обеда, в отсутствие Федора Андреича, удалившегося отдыхать в свой кабинет, Петруша упросил Настасью Андреевну сыграть вальс, и под тихие звуки, чтоб не разбудить хозяина, две юные пары закружились по зале. Старичок, Селивестр Федорыч и его жена были зрителями.

Петруша, кружась с Аней, тихо разговаривал.

Но вдруг танцы прекратились. В дверях стоял Федор Андреич и глядел на танцующих.

– Продолжайте, продолжайте! – сказал он довольно весело и сел на стул.

Заслышав голос брата, Настасья Андреевна прекратила игру: танцующие, начавшие было вновь кружиться, тотчас же остановились.

– Зачем остановилась? играй, – заметил ей брат и, взяв Танечку от Феди, сделал круг вальса.

Всё остолбенело от удивления и не верило глазам. И когда он посадил Танечку на место, отвесив ей низкий поклон, старичок засмеялся.

– Чего вы смеетесь? вы, кажется, в самом деле считаете меня стариком. Сыграйте-ка, сестрица, мазурку... знаете, старинную: по той мне легче.

И, взяв Аню, он пустился выплясывать со всеми старинными ухватками, становился на колени, вывертывался из ее рук.

Со всех сторон сыпались восклицания удивления.

– Живей, живей! – топая ногами и каблуками и носясь по зале, твердил Федор Андреич.

Угрюмое лицо его мало смягчилось, он скорее был неприятен в своей ненатуральной веселости. При окончании фигуры он приподнял Аню за талию и, прокружив ее в воздухе, посадил на стул, а сам, бросившись возле и вытирая платком лицо, сказал задыхаясь:

– Уф, устал! – и, обратись к учителю, повелительным голосом прибавил:– Ну что же, берите даму.

Селивестр Федорыч засмеялся и искал глазами, где бы найти даму; но две дамы имели уже кавалеров, оставалась одна его жена.

– Что же, начинайте! – повторил Федор Андреич шутливо. – Берите вашу жену.

– Ну а я уж один потанцую, – смеясь, сказал старичок, и, выступив на средину залы и приподымая свой халат, как дамы платье, он неповоротливо вертелся перед сухой фигурой учителя, тащившего нехотя за собой свою жену, которая, конфузясь, пятилась назад.

Смех раздался в зале. Старичок притрагивал плечами и прищелкивал языком. Федор Андреич приказал зажечь старинные канделябры, стоявшие вечно в гостиной, на ломберных столах; свечи в них с незапамятных времен не зажигались и только каждый год подвергались омовению. Мрачная зала осветилась и наполнилась музыкой, смешанной с говором, шарканьем и смехом. Вся дворня сбежалась в переднюю и глядела с удивлением на господ и залу, в которой, с тех пор как она была выстроена, в первый раз раздался смех, говор и танцы. Федор Андреич приказал даже подать какое-нибудь угощение для танцующих, а для себя, старичка и учителя – вина, и, расхаживая по зале, угощал всех. Если Настасья Андреевна уставала играть, он сочинял в антрактах разные игры.

Пробило двенадцать часов: начались поздравления и целования. Федор Андреич со всеми перецеловался, даже с учителем и его женой.

Ужин был шумный и поздно встали из-за стола. Прощаясь с Аней, Федор Андреич спросил:

– Вам было весело сегодня?

– Да-с; благодарю вас! – отвечала Аня и с жаром поцеловала его в щеку, а он, взяв ее голову в обе руки, осыпал поцелуями. Петруша стоял возле, ожидая очереди проститься с Федором Андреичем, который и его удостоил поцелуем.

Первый день, с тех пор как Аня поселилась в доме Федора Андреича, она ложилась спать такой счастливой и веселой, что долго не могла заснуть от волнения.

На другое утро мрачность вступила в свои права, и Федор Андреич по-прежнему хмурил брови.

Глава X

Долг. – Прогулка

Праздники прошли быстро. Петруша должен был ехать в город. При прощанье он объявил о своем долге Настасье Андреевне, у которой ужас и гнев были первым порывом; но мольбы и отчаяние Петруши смягчили ее, и она обещала ходатайствовать за него у своего брата, потому что у ней самой в руках не было ни гроша.

Прощанье Петруши с Аней было трогательно: они плакали оба, клялись думать каждую минуту друг о друге и расстались до следующего праздника.

Уныние настало в доме после отъезда Петруши. Аня часто плакала.

Настасья Андреевна, как ни сбиралась объявить тайну Петруши своему брату, не находила удобной минуты; но, получив письмо от Петруши, где он просил ее поспешить высылкою денег, она решилась сказать всё брату, несмотря на его недовольное лицо в тот вечер.

Он играл с Аней в шашки, старичок следил за игрой, а Настасья Андреевна вязала чулок.

– Братец... – начала она нетвердым голосом. – Петруша, уезжая, просил меня...

– О чем? – не отрывая глаз от игры, спросил ее брат.

Настасья Андреевна с минуту помолчала и наконец сказала:

– Просить у вас прощенья.

– В чем? – и, взяв шашку, он прибавил, обращаясь к Ане:– Прозевали!

– Он очень, очень раскаивается и дал мне слово никогда этого не делать.

– Опять!.. Ну, вы просто рассеянны играете! – хмурясь, сказал Федор Андреич Ане и продолжал: – В чем же он раскаивался?

– Он не виноват: приятели...

– Верно, уж долги появились? – перебил сестру Федор Андреич.

– Не сердитесь, братец; я его жестоко бранила.

– Хорошо, хорошо! – недоверчиво произнес Федор Андреич и спросил:– А сколько?

Настасья Андреевна нетвердым голосом произнесла:

– Триста!

Аня и старичок с ужасом переглянулись.

– Гм... каково?.. У меня нет денег платить за него долги, и так он дорого стоит, – покойно и решительно отвечал Федор Андреич и, обратись к Ане, прибавил: – Ну-с, о чем вы думаете?

Аня поспешно подвинула шашку.

– Братец, он дал расписку, и срок кончился, – тоскливо заметила Настасья Андреевна после некоторого молчания.

– Мне-то что за дело! вольно мальчишке верить.

– Это будет пятно на его чести.

– Кто велел ему ее пятнать!

Холодность, с какою говорил Федор Андреич, отняла всякую надежду у сестры; она пришла в отчаяние.

– Братец, я прошу эти деньги дать для меня; неужели вы мне откажете?

– Откажу, потому что вы их просите на баловство и поощрение мотовства...

И, горячася, он продолжал:

– Да скажите мне, пожалуйста, вы просили у нашей покойной мачехи для меня денег? давала она мне столько, как я ему даю на содержание, а?

– Он молод и в первый раз... – заметил старичок.

– Я тоже был молод, однако никому не давал расписок.

– Может быть, дурные товарищи, – опять сказал старичок.

– И у меня были тоже товарищи... Впрочем, напрасно его оправдывать... Мне всё равно... Я сказал ему, что не буду за него платить долгов, когда привез его в город, и не заплачу.

И Федор Андреич углубился в игру. Никто его не смел более беспокоить, и партия длилась в глубочайшем молчании. Аня проиграла.

– Желаете отыгаться? – спросил Федор Андреич.

– Извольте! только с условием! – весело отвечала Аня.

Она давно заметила, что ее веселое расположение часто смягчало суровость его, и теперь не ошиблась: он довольно ласково отвечал:

– Говорите, какое?

– Я скажу, если выиграю.

– Что за тайны! говорите прежде.

– Не скажу.

– А я не согласен играть.

– Я ожидала этого! – с тяжелым вздохом сказала Аня и привстала со стула.

– Кажется, вы изволили надуть губы? Садитесь.

Партия долго тянулась. Аня обдумывала каждый шаг, но перевес всё-таки был на стороне Федора Андреича, который подшучивал над горячностью Ани.

Но вдруг Федор Андреич сделал такую ошибку, что старичок с жаром воскликнул:

– Да что вы сделали?

– Эх! скажите, какая рассеянность! – с досадою сказал Федор Андреич.

– Да как это вы? что с вами сделалось! как вы этого не видали? – приставал к нему старичок.

Он наконец недовольным голосом сказал:

– Ну что вы заахали! разве нельзя ошибиться?

– Выиграла! – с силою ударив шашкой по доске, воскликнула Аня и, забив в ладоши, стала прыгать по комнате.

Настасья Андреевна и старичок не без удивления посмотрели на развязность Ани, до сих пор вечно застенчивой при Федоре Андреиче. А он был углублен в игру, как бы обдумывая проигранную им партию.

– Ну-с, извольте сказать ваше условие, – сказал он.

– Я завтра его скажу, – небрежно отвечала Аня.

– Как завтра? – с удивлением спросил Федор Андреич.

– Очень просто – завтра!

И она присела перед ним.

– Хитра! надула старого филина! – заметил Федор Андреич, подмигнув старичку.

Настасья Андреевна так улыбнулась язвительно, что Аня закусила губу.

На другой день утром, за чаем, Федор Андреич встретил Аню вопросом:

– Ну-с, какое условие?

– За обедом скажу, – отвечала Аня, здороваясь с ним.

– Вы, кажется, подсмеиваетесь надо мной, – хмурясь, заметил Федор Андреич и быстро вышел из залы.

– Как мило! и что за дерзость так шутить со старшими! – язвительно сказала Настасья Андреевна. – Вы его сердите своими глупостями и лишаете других возможности говорить о деле.

Этот упрек подействовал на Аню: она догадалась, что Настасья Андреевна желала опять говорить с братом о Петруше. Извинясь перед ней, она попросила позволения отнести

чай Федору Андреичу в кабинет. Она важно вошла к нему и, с недовольным видом поставив чашку на стол, пошла назад.

– Подождите; куда торопитесь? – сказал Федор Андреич.

Аня, остановись посреди комнаты, повернула к нему одну только голову.

– Подойдите!

Аня медленно подошла.

– Вы сами догадались принести мне чай?

Аня покачала головой.

– А вы разве сами не могли догадаться?

– Если бы мне не приказали Настасья Андреевна и дедушка, я к вам ни за что бы не пошла.

Федор Андреич улыбнулся такой смелой откровенности. Аня никогда еще так фамильярно с ним не обходилась.

– Отчего? – спросил он.

– Я сердита на вас! – отвечала она.

Федор Андреич засмеялся; смех его был такой редкостью, что Аня испугалась; храбрость ее исчезла, и она вновь чувствовала неловкость перед ним.

– А за что вы на меня сердитесь?

Аня, с минуту помолчав, отвечала:

– За то, что вы проиграли и стараетесь показать, что рассердились на меня, чтоб не заплатить своего проигрыша.

– С чего вы взяли? вы, право, забавны! Извольте же говорить ваше условие, и я его исполню, если только оно возможно.

– О, конечно, оно очень возможно! – радостно воскликнула Аня и нерешительно прибавила: – Заплатите долг за Петрушу.

Федор Андреич вскочил с своего места; лицо его запылало гневом, и, топнув ногой, он грозно сказал:

– Извольте идти; я таких глупостей не намерен исполнять.

Аня так испугалась в первую минуту, что ноги у ней задрожали; но вдруг она гордо сказала:

– Я вас потому прошу об этом, чтоб опять не подумали, что мы с дедушкой строим козни.

Федор Андреич посмотрел пристально на Аню, молча подошел к бюро, вынул оттуда деньги, отсчитал триста рублей и, подавая их Ане, сердитым голосом сказал:

– Извольте передать от меня Настасье Андреевне.

Аня, полная гордости, вручила деньги Настасье Андреевне, которая ужасно обрадовалась им. Они тотчас же были посланы к Петруше.

Этот случай так ободрил Аню, что она совершенно изменила свое обращение с Федором Андреичем; особенно замечала она свое влияние, если не было Настасьи Андреевны в комнате. Тогда она капризничала и выпрашивала всё, что ей хотелось. Настасья Андреевна с ужасом стала замечать перемену в Ане, которая уже не слушалась ее более. Она по ночам читала романы, чесала голову, как ей хотелось, не надевала более передников. Впрочем, Аня уже было семнадцать лет.

Иногда Аня оставалась одна с угрюмым Федором Андреичем; тогда она походила на маленькую болонку, запертую в одну клетку со львом. Чувствуя инстинктивно громадную силу зверя, собачонка, однако ж, лает на него, теребит его за гриву, вызывая на бой, а потом от одного его сердитого взгляда прячется, дрожа, в угол и визжит. Так-то и Аня. Иногда она трепетала при одном взгляде Федора Андреича, а то вдруг смело противоречила ему.

Петруша и Аня продолжали вести переписку, благодаря деньгам, которые постоянно проигрывал ей Федор Андреич. К тому ж все в доме любили Аню и в тяжкие минуты прибежали под защиту ее. Это льстило Ане, и она употребляла всё свое искусство, чтоб поддержать свою роль в их глазах. Следующего рода вещи стали повторяться. Любимая чашка Федора Андреича была разбита одним из лакеев. Никто не знал, как сказать о том ему, и ждали бури в доме. И точно, когда Настасья Андреевна подала своему брату чай не в его любимой чашке он грозно спросил:

– Что это значит?

Молчание было ему ответом; бледность лакея, стоявшего в углу залы, изобличила виновного.

– Кто разбил чашку? кто? – привставая со стула и всё более и более горячася, говорил Федор Андреич.

– Это я виновата! – вдруг, встав со стула, сказала Аня.

Ужас и удивление изобразились на лицах присутствующих; ждали грозы. Но Федор Андреич проговорил что-то сквозь зубы, сел на свое место и стал пить чай из поданной ему чашки.

Настасья Андреевна, видя такое влияние Ани над своим братом, страшно досадовала, но в душе не могла не сознаться, что оно было благотельно для всех в доме, тем более что характер брата стал еще раздражительнее и придиричвее и одна Аня своей болтовней и звучным смехом развлекала его и имела доступ к нему в самые страшные минуты его гнева.

Ане льстило ее влияние, и она заметно изменилась в обращении со всеми; ей уже казалось, что она не из милости живет в доме, а по какому-то праву.

Петруша приехал на Пасху. Аня встретила своего товарища игр холодно. Ее гордая осанка, шелковое платье, покровительный тон так поразили Петрушу, что он не верил, что это та самая бедная девочка, с которой он бегал по саду, которая, провожая его, горько плакала, прося его защиты. Петруша не знал даже, как и говорить с ней; если он ее по-старому называл «Аня», она гордо выпрямлялась и, с недоумением поглядев на него, не удостоивала даже ответом.

Настасья Андреевна, смотря на Аню враждебными глазами, насаждала о ней Петруше ужасов. Петруша глубоко был огорчен, тем более что Аня в своей надменности гораздо сильнее нравилась ему, чем прежде, в своей покорности. Он уехал в отчаянии, оставив письмо Ане, полное упреков, заслуженных и незаслуженных.

При чтении письма Аню бросало то в жар, то в холод; когда она дочла до того места, где Петруша, по наущенью Настасьи Андреевны, упрекал ее в намерении выжить всех из дому, она вскрикнула пугливо, потом с недоумением разорвала письмо на мелкие кусочки и долго плакала.

В течение нескольких дней потом она была грустна, услуживала Настасье Андреевне, которая по своей жесткости не могла смириться, а только вновь вызывала Аню на бой.

В доказательство, что все ее желания выполняются, Аня пожелала учиться ездить верхом. Седло было выписано из Москвы, лошадь куплена, и Аня, торжествуя, разъезжала всякий день на прогулки в сопровождении Федора Андреича.

Трудно передать всю мелочность войны, какую вели две женщины в этом доме. И каждая удача как с одной, так и с другой стороны еще более разжигала их вражду.

Настасья Андреевна из экономии требовала удаления учителя, который, пользуясь молчанием хозяина, каждый день сходил к столу и к чаю. Федор Андреич согласился. Аня довела распоряжения Настасьи Андреевны до самой последней степени и почти накануне отъезда учителя упростила Федора Андреича оставить его, под предлогом, будто она желает брать у него уроки. Учитель был оставлен.

Настасья Андреевна так была уязвлена этим поступком Ани, что грозилась ей оставить дом брата. Может быть, она и исполнила бы свою угрозу, но мысль о будущности Петруши заставляла ее принести не первую жертву.

На каникулы явился Петруша. Он похудел, был бледен и избегал Ани, что ужасно оскорбляло ее, тем более что он очень нравился Ане с тех пор, как румянец исчез с его щек и вместо детской веселости в глазах появилась грусть.

Ане было жаль его, и в то же время ей не хотелось первой начать объяснение. Она холодность свою заменила кокетством, но таким тонким, что нужно было дивиться ее искусству, которое можно было бы приобрести в большой практике, а не в деревне, где, кроме старика дедушки да угрюмого Федора Андреича, она никого не видала. Петруша стал менее дичиться своей подруги детства.

Раз, во время послеобеденного отдыха Федора Андреича, Аня пожелала ехать верхом и предложила Петруше сопровождать ее. Лошади были оседланы, по приказанию Ани, и они поскакали в лес. Аня была довольна случаем показать свою ловкость и смелость. Она скакала не переводя духу; канавки, плетни не останавливали ее. Петруша молча следовал за ней.

– Знаете ли, что вы очень похожи на Федора Андреича: он, решительно как и вы, всё молчит, когда катается со мной? – сказала Аня, останавливая свою лошадь всю в пене.

– Вы знаете очень хорошо, почему я молчу, – с упреком отвечал Петруша.

– Оттого, что вам наговорила на меня Настасья Андреевна? – перебила его Аня.

– Ах! пожалуйста, не говорите этого. Когда она была виновата против вас, я разве оправдывал ее? – с горячностью возразил Петруша.

Аня вспыхнула, ударила хлыстом лошадь и помчалась; она скакала долго и очень была поражена, не видя Петруши за собой. Она вернулась назад. Петруша ехал шагом и о чем-то думал. Аня подскакала к нему и с запальчивостью сказала:

– Почему вы отстаєте!

– Лошадь очень устала, и я боюсь ее замучить: она не моя.

Аня сконфузилась и предложила, доехав до лесу, привязать лошадей, чтоб дать им отдых.

Когда подпруги были ослаблены и лошади привязаны к дереву, Аня сказала:

– Петруша, пойдем собирать васильки для Селивестра Федорыча, как мы, помнишь, прежде делали, чтоб его задобрить.

Петруша очень был поражен такой переменной; он глядел с удивлением на Аню, которая, взяв его за руку и потупив глаза, продолжала:

– Петруша, ты на меня сердишься?

– Нет, Аня; но ты сама очень изменилась.

– Ах, Петруша, что же мне делать? я готова всё сделать, чтоб только она на меня так не смотрела! Я всё знаю: она наговорила на меня, будто я...

– Аня, я сам вижу! – с упреком перебил ее Петруша.

– Ну, скажи мне, что я должна делать?

– Не знаю, – только не быть такой.

Равнодушие, с которым говорил Петруша, сначала так рассердило Аню, что она заплакала; потом она вытерла слезы и, гордо подняв голову, торжественно сказала:

– Петруша... дашь ли ты мне слово защищать меня и моего дедушку: тогда я ничего не буду делать против нее.

– Ты помнишь, Аня, как я всегда за вас заступался; я тогда был еще мальчишка.

– Если так, Петруша, забудь всё, не сердись на меня более; прости же меня!..

Аня остановилась.

– Ах, Аня... как мне больно было, как ты вздумала, чтоб я тебе говорил «вы»! – с жаром подхватил Петруша.

И, усевшись на траву, они стали передавать друг другу все страдания свои. Оба поплакали; но скоро звучный смех огласил лес.

Они, припоминая старое время, стали бегать и догонять друг друга.

Полные радостью примирения, они вернулись домой. Федор Андреич был ужасно разгневан самопроизвольным распоряжением. Он встретил Петрушу следующими словами:

– Милостивый государь! как вы осмелились взять мою лошадь?

– Это я приказала оседлать, – самонадеянно отвечала Аня за оторопевшего Петрушу.

Федор Андреич пуще прежнего сдвинул свои брови, но кротче отвечал:

– А вы, сударыня, как смели распоряжаться?

Аня вспыхнула; она давно уже не слыхала таких жестких слов.

– Я не знала, – обидчиво отвечала она, – что не могу распоряжаться своей лошастью.

– Своей – как угодно, но не другими! – запальчиво произнес Федор Андреич.

Аня замолчала, и так как она имела характер мстительный, то с вечера подбила Петрушу идти гулять рано утром. И, чтобы придать решимости Петруше, она насмешливо сказала:

– Может быть, ты боишься его: помнишь, как он за нашу прогулку засадил тебя к себе в кабинет?.. Впрочем, он тогда рассердился, что был вечер, а мы теперь пойдем утром. Да и тебе ведь уж двадцать лет.

– Больше – двадцать один! – с гордостью сказал Петруша.

Рано утром Аня, взяв с собою булку, а Петруша – книгу, отправились на дальнюю прогулку. Они доехали в лодке до ближайшей деревни, там выпили молока, долго гуляли в лесу, читали книгу и вернулись домой после утреннего чаю.

Встревоженные лица домашних известили их о готовившейся буре; но Аня смело подошла здороваться с Федором Андреичем, который сидел на террасе и медленно курил трубку. В присутствии своей сестры и старика он старался придать своему голосу более твердости, но не умел: видно было, что гнев душил его.

– Где вы это изволите пропадать? – спросил он.

– Мы гуляли.

– Как же вы смели без спросу?

– Мы ходили пешком, – насмешливо отвечала Аня, не замечая умоляющих жестов старичка.

– Вот, братец, вы видите, как она вам отвечает: что же вы хотите, чтоб я делала? Она дошла до такой дерзости...

– Я никому не позволю быть дерзким со мной! – в гнев закричал Федор Андреич.

Аня побледнела; но при взгляде на торжествующее лицо Настасьи Андреевны кровь хлынула ей в голову, и она с необычайной смелостью сказала:

– Я дерзостей никому не делаю своими прогулками; но никто не может мне их запретить!

Послышались со всех сторон восклицания удивления. Федор Андреич, казалось, сам онемел от слов Ани, которая гордо глядела на всех.

– Вы... вы воображаете, что над вами нет старшего, а?... – задыхаясь и едва сдерживая гнев, спросил Федор Андреич.

– Нет! кроме моего дедушки! – отвечала Аня.

Старичок побледнел и в отчаянии воскликнул:

– Аня, Аня!

– Каково! а? слышите, братец! что она думает о себе! Она, кажется, воображает, что играет первую роль в доме, – жужжала Настасья Андреевна своему брату, который, повесив

голову, сидел, как бы о чем-то думая. Он долго оставался в этом положении. Все, объятые страхом, разошлись, оставив его одного.

В этот день Федор Андреич не выходил из своего кабинета, а на другое утро все в доме были поражены его неожиданным отъездом: он уехал в ночь.

Глава XI

Опять письмо

Аня очень скоро ощутила отсутствие Федора Андреича и с ужасом увидела, до какой степени расположение его было необходимо ей: Настасья Андреевна не замедлила выказать свою власть над беззащитной Аней и ее дедушкой. Целые дни проходили в попреках, в колкостях, которые приводили гордую Аню в отчаяние, особенно после той свободы, которой она наслаждалась так недавно. Петруша впал в немилость у Настасьи Андреевны за его расположение к старичку и заступничество за Аню и скоро уехал. Его отъезд был страшен для Ани: она оставалась совершенно одна. Но, к счастью, возвратился скоро Федор Андреич. Аня, увидев его, так ему обрадовалась, что бросилась ему на шею и долго плакала. Но как она была удивлена: Федор Андреич совершенно изменился к ней, даже к старичку, с которым сухо поздоровался и ничего не говорил. Он сидел большую часть времени у себя в кабинете, а если и выходил в залу, то был до того угрюм, что Аня не решалась произнести слова; слезы ее потеряли всякую силу; он даже был жесток в такие минуты своими вопросами:

– Чем еще вы недовольны?

Туалет Ани износился, даже не было у ней башмаков, – Федор Андреич как бы не замечал, а Настасья Андреевна ждала, когда Аня попросит, чтоб иметь случай прочесть ей наставление и высчитать, сколько на нее тратят. Но Аня решилась терпеливо выносить всё – для своего дедушки, который от беспрестанных домашних неприятностей стал часто прихварывать.

С каждым приездом Петруша больше сближался с Аней. Детская их дружба теперь, когда они уже были в полном расцвете жизни, начала принимать характер серьезный. Это не укрылось от Настасьи Андреевны, и, в отмщение своему любимцу, она перестала присылать ему разные хозяйственные мелочи. Даже деньги он получал уже не через нее, а должен был сам просить их у Федора Андреича, который обращался с ним с убийственною холодностью.

Всё это раздражало Петрушу; он часто стал ссориться с Настасьей Андреевной, которая всё приписывала и без того угнетенной Ане. Аня же давно бы покинула этот дом, если б не дедушка, умолявший ее потерпеть, и уверявший, что скоро Федор Андреич перестанет сердиться и всё опять пойдет хорошо.

Но время шло. Раздоры вспыхивали из малейших пустяков. Петруше перестали посылать деньги; он жил в долг.

Всё это наконец вывело из терпения Аню: она написала ему письмо, где логически изложила печальную перспективу их любви, просила его забыть о ней и требовала, чтоб он повиновался желаниям Настасьи Андреевны.

Аня потеряла все силы; бодрость духа исчезла у ней в каждодневных стычках с Настасьей Андреевной; она похудела; нервы ее до такой степени раздражились, что она от всяких глупостей плакала как сумасшедшая.

Посланный, которому она тихонько отдала письмо Петруше, должен был, по распоряжению Настасьи Андреевны, возвратиться на другое утро. Но настал вечер, а он не являлся; волненье Ани доходило до страшной степени, так что Федор Андреич заметил:

– Вы, кажется, сегодня чем-то очень заняты.

– Праздностью, как всегда, – подхватила Настасья Андреевна.

– Отчего вы совершенно оставили музыку? хоть бы ею иногда занялись! – продолжал Федор Андреич, верно смягчась бледностью Ани. Аня хотела было сказать, что ей запретила играть Настасья Андреевна, но смолчала; зато как же она была награждена! ее враг язвительно отвечал:

– Из лени!

– Извольте-ка заниматься, – сказал Федор Андреич и, обратись к старичку, насмешливо прибавил: – Прикажите вашей внучке хоть чем-нибудь заниматься, а то она от праздности всё только хнычет.

– Федор Андреич! – с упреком возразил старичок.

– Она ведь ничьей власти не признает здесь, кроме вашей, – продолжал тем же язвительным тоном Федор Андреич.

Эта фраза тысячу раз была повторяема им с тех пор, как Аня имела безрассудство сказать, что, кроме дедушки, никто не может приказывать ей.

Аня, вся вспыхнув, быстро подошла к флигелю, судорожно отбросила крышку, взяла два аккорда и чуть не воплем заглушила их.

С минуту сидящие в комнате молча вслушивались в рыдания девушки, которые полны были отчаяния. Старичок, победив опасение прогневить Настасью Андреевну и ее брата, пошел утешать свою внучку.

Лицо Федора Андреича приняло суровое выражение. Искоса поглядев на свою сестру, которая стала упрекать Аню в капризах, он сказал:

– Всё ваше пустословие... замолчите!

Настасья Андреевна пугливо и вопросительно уставила свои глаза на брата: она думала, что он уже никогда ее примет Аню под свою защиту.

– Перестаньте! мне ужасно надоели все ваши слезы!

И, встав с своего места, он стал ходить по комнате.

Аня замолчала; в ту минуту дверь отворилась, и посланный в город, несколько пошатываясь, вошел в комнату. Аня радостно встрепенулась.

– Отчего ты так долго не являлся? – обратись к нему, спросила Настасья Андреевна. – Пил где-нибудь? а?

– Ну что ты его спрашиваешь, пил ли он? разве не видишь, он на ногах не стоит?... – заметил Федор Андреич.

Лакей пробормотал: «Виноват» – и, еще более шатаясь, пошел к двери.

– Подай счета! – остановив его, сказала Настасья Андреевна.

Лакей сунул в карман руку и подал письмо вместо счета.

– Это что? письмо? – вертя его в руках, бормотала Настасья Андреевна, потому что оно было без адреса. И вдруг, как бы озаренная вдохновением, она сорвала печать. Аня как безумная кинулась к Настасье Андреевне, воскликнув:

– Не читайте: это ко мне.

И она взяла письмо.

Федор Андреич перестал ходить.

– Как вы смели вырвать у меня из рук письмо, а? – гневно проговорила Настасья Андреевна и, обратясь к брату, продолжала: – Братец! я у вас прошу защиты против дерзостей этой интриганки: она, она ссорит Петрушу со мной, чтоб он женился на ней.

Аня окаменела. Федор Андреич взял у ней из рук письмо, подошел к свече и стал читать; вдруг лицо его побагровело, и он залился смехом, от которого Аня кинулась к дедушке, как бы под защиту; лакей вздрогнул, а Настасья Андреевна пугливо произнесла:

– Братец!

Федор Андреич вырвал Аню из объятий старичка, вывел ее на середину комнаты, разорвал на мелкие кусочки письмо, затоптал его ногами и сказал страшным голосом:

– Видите, сударыня, видите... и помните, что скорее я позволю назвать себя дураком, чем соглашусь на такую нелепость!

И он вышел из комнаты.

Аня вновь кинулась к слабому своему дедушке, а Настасья Андреевна, испугавшись гнева своего брата, забыла весь гнев свой к Петруше, стала подбирать клочки письма, дро-

жащими руками складывала их на столе, и крупные слезы, падающие на них, припечатывали их к столу.

В письме своем Петруша умолял Аню успокоиться и обещал приехать на днях, чтоб просить ее руки.

В ожидании Петруши Аня ничего не пила, не ела. Настасья Андреевна находилась в сильном волнении, старичок также, – словом, все, кроме Федора Андреича; но его спокойствие было страшнее самого гнева.

Наконец приехал Петруша в самый обед. Федор Андреич приказал вести его прямо в кабинет свой, отчего Настасья Андреевна страшно побледнела. Ее брат, не торопясь, окончил обед, за которым один только и ел. Лишь только он удалился в кабинет, как Аня и Настасья Андреевна, будто сговорясь, кинулись за ним и стали слушать у дверей.

Сначала разговор шел обыкновенным тоном; потом голоса стали возвышаться. Голос Федора Андреича гремел и слышался в зале, отчего старичок, зажав уши, творил молитву, а лакеи, собиравшие со стола, стояли, разинув рты, как окаменелые, кто с тарелкой, кто с салфеткой.

– Так твое намерение неизменно? – кричал Федор Андреич.

Голоса Петруши не было слышно за гневным восклицанием:

– Так вон же из моего дома!!

Настасья Андреевна, дико вскрикнув, кинулась в кабинет и встретилась на пороге с Петрушей, бледным как полотно. Он, дрожа всем телом, с чувством поцеловал у ней руку и сказал:

– Прощайте: меня гонят отсюда.

– Проси, скорее проси прощенья, – загораживая ему дорогу, сказала Настасья Андреевна.

– Я не могу! – отвечал Петруша и, поцеловав свою благодетельницу, пошел. Остановись перед полумертвой Аней, прислонившейся к стене, Петруша прибавил:

– Если вы любите меня, то через два года я буду просить руки вашей у дедушки, как у единственного человека, смеющего располагать вами.

И он вышел из передней.

Настасья Андреевна, упав на колени перед братом, стала молить его о пощаде своему приемышу.

Аня, едва дойдя в свою комнату, упала без чувств на пол и долго бы пролежала без помощи, если бы Федор Андреич, рассерженный до последней степени упреками своей сестры за расположение его к Ане, не явился к ней, чтоб выслать ее из своего дома.

В первый раз он вошел в комнату к Ане с тех пор, как она заняла ее. Мебели в комнате другой не было, кроме кровати из простого дерева, такого же стола и двух плохих стульев: под разными предлогами, Настасья Андреевна отобрала всю мебель, бывшую прежде в комнате.

В первую минуту Федор Андреич не обратил внимания, где жила призренная им сирота; увидав Аню, которая лежала как мертвая на полу, он остановился как вкопанный, устремив на нее свои сверкающие глаза. Первый день его знакомства с ней живо представился ему. Тогда он бросил взгляд вокруг себя и, увидав кругом такую бедность, покраснел. Постояв несколько минут в каком-то недоумении, он наконец бережно положил Аню на постель и кинулся сзывать весь дом на помощь. Верховые поскакали за доктором, за лекарствами. Дни и ночи Федор Андреич проводил у постели Ани, которая находилась в опасности. Когда же опасность миновалась, заботливость и предупредительность его еще усилились. Он сам ходил на кухню, когда готовили для больной суп или желе, и всякий день утром приносил ей какой-нибудь подарок.

С Настасьей Андреевной он перестал говорить, устранил ее от хозяйства, и она сидела у себя в комнате, ни во что не вмешиваясь.

В это время она так изменилась, что не было сомнения в жестокой болезни, разрушавшей ее; но она молчала, как бы желая, чтоб другие догадались и подали ей помощь. Но Федор Андреич равнодушно глядел на добровольное заключение сестры в комнате, приписывая его капризу.

Оправясь от болезни, Аня упросила Федора Андреича, который совершенно изменился в обращении с ней и с стариком, помириться с сестрой. Он исполнил ее желание и пошел сам к ней в комнату. Но мало пользы принесло это. Брат и сестра при каждой встрече возобновляли взаимные упреки и после каждой сцены всё более и более удалялись друг от друга.

Глава XII

Развязка

Тем временем Петруша весь предался занятиям, видя в труде единственное средство спасти Аню, которая казалась ему заключенною красавицею, а себя воображал он рыцарем, готовым освободить ее. Благодаря деньгам, которые тайно посылала ему Аня от имени Настасьи Андреевны, он мог жить покойно и, совершенно помирившись со своей благодетельницей, вел с ней переписку. С Аней также. В продолжение года Аня виделась с Петрушей не более двух раз, и то на самое короткое время. Разлука окончательно определила их отношения; им казалось, что любовь их беспредельна, а препятствия связали их навсегда неразрывными узами. Петруша уже считался женихом Ани; он просил ее руки у старика, который хотя и дал слово, но хранил его в тайне от Федора Андреича.

Аня была полной хозяйкой в доме; но это уже ей не льстило, а напротив – совесть ее мучила, что она заняла место Настасьи Андреевны, которая слегка смягчилась к ней, узнав, что она посылала деньги Петруше.

Наконец Петруша окончил ученье самым блестящим образом и явился в дом. Он был принят радостно всеми, а Федором Андреичем учтиво, даже с каким-то страхом. Видимо избегая разговора с Петрушей, он сел на лошадь и только поздно вечером вернулся. Его ждали к ужину: даже Настасья Андреевна сошла вниз и заняла свое обычное место. Когда он вошел в залу, все удивились страшной перемене в его лице: оно, против обыкновения, было бледно, глаза лишены всякого блеску. Он во весь ужин ни с кем не говорил ни слова и, казалось, ел машинально, не обращая ни на что внимания. Встав из-за стола, он хотел было уйти; но Петруша остановил его следующими словами:

– Завтра я должен быть в городе, чтобы переговорить о месте, которое мне предлагают.

Федор Андреич пугливо посмотрел на Петрушу, который продолжал:

– Так как я вам обязан всем, то прошу у вас позволения жениться.

– Нет! нет! это невозможно! – почти умоляющим голосом отвечал Федор Андреич.

– Братец! я... я всё простила им и дала слово и мое благословение, – гордо заметила Настасья Андреевна.

– Не противься, брат: они давно любят друг... – начал было старичок, но был прерван гневным голосом Федора Андреича:

– Вздор! это только каприз... да, это один их каприз! – И, простонав: «Боже мой! они убьют меня!», он сел на стул и закрыл лицо руками.

Все окружили его, кроме Ани, которая, уткнувшись в окно, не переводила дыхания, слушая решение своей судьбы. Молчание длилось с минуту, Федор Андреич отвел от лица руки и, посмотрев на окружающих, с иронической улыбкой, едва слышным голосом произнес:

– Я согласен!

Слова эти произнесены были таким тоном, что произвели не радость, а общий испуг. Он продолжал, обращаясь к Петруше:

– Мне нужно... я должен переговорить с тобой.

И он ушел с Петрушей в гостиную, притворив дверь.

Остальные лица молчали в тревожном ожидании. Прошло много времени. Аня и Настасья Андреевна долго боролись со сном; наконец сон одолел – они задремали; старичок давно уже сладко спал.

Поздно ночью дверь из гостиной тихо раскрылась, и Федор Андреич вышел с Петрушей. Лица обоих были бледны, встревожены; но они дружески глядели друг на друга; руки их были сжаты. Увидя Аню и Настасью Андреевну, Петруша хотел было подойти, но Федор

Андреич умоляющим жестом остановил его; они обнялись, и Петруша выбежал из комнаты. Аня и Настасья Андреевна пугливо вскочили с своих мест; но Федор Андреич стоял спиной у дверей, как бы защищая их; лицо и вся его фигура столько выражали страдания, что Аня и Настасья Андреевна бросились к нему, тихонько отвели его от дверей, посадили на стул. Он как ребенок повиновался всему, бросая на них блуждающие взгляды.

Скрип ворот и топот лошадей заставили его вздрогнуть; он радостно вскочил со стула и убежал в кабинет, оставив в совершенном недоумении Аню и Настасью Андреевну... Узнав об отъезде Петруши, они не знали, что думать. Но на другое утро Настасья Андреевна получила письмо от своего приемыша. Петруша поручал ей Аню, молил ее забыть все враждебные чувства к ней и объявлял, что по непредвиденным обстоятельствам едет на Кавказ; если Аня, писал он, через два года не выйдет замуж, то он вернется, чтоб быть ее мужем, – но что теперь он не может изменить своего решения.

Это известие сразило равно как Аню, так и Настасью Андреевну. Последняя поехала в город, чтоб самой проводить Петрушу.

Федор Андреич дал сестре значительную сумму денег на отправку Петруши.

Аня столько выстрадала в короткое время, что не чувствовала сил перенести новое испытание. Но письмо Петруши, наполненное мольбами не покидать старичка и Настасью Андреевну, которую из города привезли полумертвую, подкрепило ее. Аня получила позволение ходить за больной; но в раздражительные минуты Настасья Андреевна изливала на ней всю желчь. Она упрекала ее за все несчастья свои, даже за гибель своей молодости, так печально проведенной. Зато Федор Андреич еще никогда так не был внимателен к Ане. Он предупреждал все ее желания, как бы стараясь загладить происшедшее. Но для Ани стало всё невыносимо: она теперь стыдилась своего влияния и на все угождения Федора Андреича отвечала холодно. Это раздражало его, и он начал жаловаться старичку на неблагодарность его внучки.

Нового рода сцены начались для Ани; она плакала теперь так же горько от внимательности того, чей суровый взгляд приводил ее в отчаяние в прежние времена. Аня убегала Федора Андреича; он делал ей сцены; даже старичок оскорблялся упрямством своей внучки и делал ей выговоры:

– Он тебе отец; ты должна любить его больше, чем меня; без него что мы?.. И мне на старости лет должно идти просить милости из-за всех капризов твоих...

Упреки старичка были страшнее всего: Аня решилась победить непонятное чувство, вследствие которого, когда она желала улыбкою благодарить Федора Андреича за внимательность к ней, губы ее как бы лишались способности улыбаться, а глаза выражали досаду.

* * *

В один зимний вечер Аня читала газету в гостиной. Федор Андреич сидел возле нее. Старичок дремал на своих креслах в зале; но в этот вечер ему что-то не спалось, и он глядел на бледную свою внучку, которая прямо сидела против него. Две свечи, горевшие на столе, резко освещали ее и Федора Андреича. Багровый цвет его лица и сверкающие глаза составляли совершенную противоположность с бледностью Ани и ее грустно-томными глазами. Федор Андреич через плечо Ани следил за ее чтением; но его глаза большею частью были устремлены на лицо читавшей. Долго смотрел на них старичок, долго с возрастающим беспокойством всматривался он в лицо Федора Андреича, как будто читая роковую тайну в его глазах, жадно прильнувших к Ане. И вдруг страшная мысль озарила старичка. Он всё понял и весь вострепнулся, – лицо его выразило мучительный испуг. Старичок поспешно встал и вошел в гостиную; но его прихода не слышал Федор Андреич.

Старичок окликнул его. Федор Андреич вздрогнул и закрыл лицо руками.

– Аня, поди, тебя спрашивает Настасья Андреевна! – поспешно сказал старичок.

Аня вышла; но она скоро вернулась, потому что Настасья Андреевна спала. Подходя к гостиной, она была поражена необыкновенно громким и резким голосом своего дедушки, который, завидя внучку, сказал:

– Поди отсюда!

Федор Андреич кинулся к ней и, схватив ее за руку, в испуге сказал:

– Что вы хотите делать... я не пущу ее... я имею на нее такое же право, как вы... я...

Аня, полная ужаса, вырвала свою руку от Федора Андреича и бросилась к старичку...

...Федор Андреич, ударив по столу кулаком, громовым голосом закричал:

– Так я вам противен! хорошо же! Я вас тоже не могу видеть. Мне, наконец, стала невыносима такая жизнь! – говорил Федор Андреич, мечась по комнате.

Старичок увел Аню, ничего не понимавшую, но дрожавшую от страха.

Через полчаса, переговорив что-то с больной, он вышел оттуда в слезах и послал к ней Аню. Она вошла в полуосвещенную комнату Настасьи Андреевны, которая была вся в белом, что придавало еще более суровости чертам ее исхудавшего лица. Она сидела на постели и судорожно сжимала свои худые руки.

Аня робко приблизилась к постели больной, которая указала ей на стул, стоявший возле. Аня повиновалась. После некоторого молчания больная начала дрожащим голосом:

– Завтра рано утром вы уедете отсюда...

Аня в испуге бросилась на колени и в отчаянии воскликнула:

– Что я такое сделала? Боже, что я такое сделала?!

– Встань, встань! ты ни в чем не виновата! Это всё я... я всему причиной. Это моя глупая ревность погубила вас всех!

И больная упала на подушки и зарыдала.

Аня кинулась целовать иссохшие руки Настасьи Андреевны, которая не отняла их на этот раз; отвечая пожатием, она твердила:

– Люби Петрушу, он через год вернется, будьте счастливы...

– Позвольте мне остаться возле вас... – умоляющим голосом сказала Аня.

И ей казалось в эту минуту, что Настасья Андреевна так же ей близка и дорога, как ее покойная бабушка.

– О нет, нет! сохрани тебя боже! Я не сегодня, так завтра могу умереть; дедушка твой тоже не из долговечных; ты останешься одна... О нет! скорее отсюда, скорей уезжайте!

Аня рыдала.

– Не плачь... твои слезы напоминают мне его, – помню, как он просил меня, чтоб я любила и не оставляла тебя. Но что я смогу сделать! О, господи, господи! лучше уж прекрати мои страдания!

И, притянув Аню к себе, она перекрестила ее, поцеловала в лоб и проговорила:

– Вот тебе мое благословение; передай ему его, как увидишься с ним. Прощай; я уже не увижу вас больше... Уйди отсюда: мне очень тяжело...

Аня, рыдая как безумная, вышла из комнаты. Старичок на все расспросы Ани, почему он оставляет дом, твердил одно:

– Бог нас не оставит. Узнаешь всё потом.

Они целую ночь не спали, хотели было укладывать вещи, но, за что ни брались, всё было чужое, и тогда Аня сказала с необыкновенною твердостью:

– Дедушка, нам нечего укладывать; лучше отдохните: дорога будет длинная, если мы поедем так далеко, как вы говорите.

На другой день, рано утром, старинный рыдван стоял у крыльца. Старичок и Аня с узелками в руках спускались по лестнице, прощаясь почти на каждой ступеньке с дворней.

В передней они столкнулись с Федором Андреичем, который попросил отъезжающих войти в залу.

Затворив дверь и помолчав с минуту, Федор Андреич нетвердым голосом сказал:

– Я вижу, что вы серьезно хотите выполнить ваше намерение? Куда вы едете и чем будете жить?

Старичок и Аня взглянули вопросительно друг на друга; они в первую минуту своего решения не подумали об этом.

Федор Андреич продолжал, обращаясь к Ане:

– Своими капризами что вы готовите вашему дедушке? опять нищету, голод!

Аня молчала. Тогда он обратился к старику и с упреком продолжал:

– А вы – в такие лета и так неблагоразумны. Ну что вы ей готовите? Что ожидает девушку в ее лета, посреди нищеты и труда, к которому она разве готовилась?

– О, я буду день и ночь работать! – воскликнула Аня.

Федор Андреич улыбнулся и язвительно сказал:

– Хорошо-с, вы будете работать: зачем же вы не делали этого прежде, когда ваш дедушка и вы сами чуть не умирали с голоду? Что, вы нашли тогда средства к существованию?..

– Мы всё помним и не забудем, что для нас было сделано, – прервал его старичок.

– Полноте! Я не для того говорю, чтоб высчитывать мои благодеяния... Но я хочу разумить вас, что в жизни не часто бывают такие случаи, чтоб вас спасали от нищеты. Я прирел вас, я хотел сделать ее счастливой.

Федор Андреич говорил кротко, так что старичок стал колебаться.

– Я хотел ей предоставить всё свое имение, – продолжал с жаром Федор Андреич.

Аня пугливо поглядела на него, а старичок заметил:

– У вас есть наследники, а мы не имеем на имение никакого права.

– А разве она не может сделаться моей наследницей? От вас будет зависеть сделать ее счастливой. Я дал вам слово устроить ее и готов даже жениться, чтоб...

Аня дико вскрикнула и умоляющими глазами смотрела на старичка, который, тяжело вздохнув, отвечал:

– Я не могу ее приневоливать, тем более что она любит другого.

– Боже мой, да вы, кажется, сами превратились в мальчишку, что так рассуждаете! Он молод, беден и, может быть, оставил уже свое намерение. Да к тому ж отдать ее замуж за человека, который сам из милости питается? Вы потворствуете тому, что поведет их к общей гибели!

Федор Андреич страшно горячился.

– Я предпочту всё, но только не буду ничьей женой, кроме его! – гордо сказала Аня.

Федор Андреич замолчал, долго и проницательно глядел на Аню, потом прошелся по комнате несколько раз и, остановясь вновь перед ней, торжественно сказал:

– Я всё употребил, все меры, даже, может быть, глупые, чтоб предотвратить нищету и несчастья от вас. Вы всё отвергли!.. – Губы его судорожно улыбнулись, и он язвительно продолжал: – Теперь помните, что уже двери моего дома закрыты для вас, а кошелек мой – туго завязан. Прощайте!

И он раскрыл дверь, в которую, дрожа всем телом, вышли два несчастные существа, приготовлявшиеся идти смело навстречу нищете и труду.

Настасья Андреевна выслала им денег на дорогу. Федор же Андреич ничего не дал и даже не сказал, чтоб они взяли что-нибудь из белья и платья. Он насмешливо глядел, как они усаживались в рыдван. Когда экипаж двинулся, старичок выглянул, чтоб поклониться и поблагодарить в последний раз хозяина, но вздрогнул и спрятался: так язвительна была его прощальная улыбка.

Часть третья

Глава XIII Прачка

В одной из отдаленных улиц города NNN, в глубокую осень, вечером часов в десять, молодой человек, плотно закутанный в серую шинель, медленно прохаживался около покачивавшегося забора, посматривая на противоположный чистенький двухэтажный домик, верхний этаж которого был ярко освещен. В запотевших окнах его поминутно мелькали разряженные фигуры.

В подвале топилась лежанка, и оттуда также выходил яркий свет, отражаясь в лужах, стоявших на кирпичном тротуаре, который приходился в уровень с низенькими окнами. Разительную противоположность представлял средний этаж, тускло освещенный лампадами, теплившимися у икон в богатых ризах. Окна его по первое стекло были завешены кисейными занавесками; печально и одиноко стояли на них горшки герани и густою тенью рисовались на стеклах.

Около часа неизвестный господин в шинели ходил как маятник против дому, казалось не замечая ни диких визгов ветра, смешанного с лаем собак, ни мерного дождя, ни скрывания старых заборов, ни шипения торчавших за ними голых деревьев, которые при каждом порыве ветра гнулись во все стороны и своими прутьями колотили по забору. Наконец он быстро перебежал на другую сторону улицы и стал смотреть в окно подвала. С первого взгляда низенькую и широкую комнату можно было принять за корабль: веревки были растянуты по всем направлениям ее и висевшее на них белье покачивалось, как паруса. Убранство комнаты не отличалось роскошью: огромная кровать с ситцевыми пологам, возле нее сундук, окованный железом, небольшой шкаф, один полуразвалившийся стул, большой и маленький стол – вот и всё. И, однако ж, в комнате было тесно. Платяные корзины, одна на другой, стояли на полу; юбки, тугие, как пергамент, висели по стенам. Корыто с синей водой помещалось на сундуке, и утюги валялись где ни попало.

За небольшим столом сидела худая женщина лет под сорок, с головой, повязанной покупчески. В движениях ее было что-то судорожное; на ее желтом и костлявом лице резко отражались следы тяжелого труда. В ее быстрых карих глазах и в большом рте с узенькими губами было много желчи. Она хлебала щи из большой деревянной чашки и за каждым глотком с какою-то злобою бросала ложку далеко от себя.

На скамье, в простенке между двумя окнами, за небольшим столом, гордо и беспечно сидел пожилой человек в ситцевом архалуке, с плотно остриженной головой, с небольшими усами, торчавшими кверху, и с серебряной серьгой в левом ухе. Трудно было уловить черты его лица, которое всё состояло из крупных складок и походило на сплюснутое жабо. Глаза едва виднелись из-под густых бровей и напухших век. При каждой ложке он страшно разевал рот. Помещавшийся подле него на столике кот, весь черный как смоль, с жадностью следил за каждым глотком своего хозяина, облизывался своим розовым языком и то шурил, то тарасил свои злые, с зеленым блеском, зрачки. Другой кот, дымчатый, обнаруживал более спокойствия: поджав все четыре лапки, он лениво открывал по временам заспанные глаза, осматривал каждый предмет и, остановившись на нагоревшей свече, стоявшей против ужинающего, апатично закрывал их.

На оконнице, очень высокой от полу, сидел еще третий кот – серо-желтый. Он был тощ и жалок, робко смотрел на хозяина, подергивал ушами и беспрерывно менял положение.

Подбежав к окну подвала, молодой человек высунул было руку, чтоб постучать в стекло, но, как бы испугавшись холоду, пугливо спрятал ее под шинель и побрел к воротам. Он постучал в дверь подвала, где ужинали.

– Кто там? – отвечал ему крикливый женский голос.

– Это я! – робко сказал молодой человек, высунув голову в дверь и по-прежнему закрывая лицо воротником шинели, поднятым выше головы.

Женщина привстала и ладонью начала вытирать губы.

– Мое белье готово? – поспешно спросил молодой человек, входя.

– Нет! да я ведь в четверг обещала! – с неудовольствием заметила женщина, подходя к двери.

– Хорошо-с, хорошо-с! – быстро отвечал он и захлопнул дверь.

– Ишь ты, как приспичило!

Она не успела договорить, как дверь снова раскрылась и тот же робкий голос спросил:

– Катенька наверху?

– Спит!.. на что вам? – довольно резко спросила она.

– Прощайте, прощайте! – пробормотал едва внятно господин в шинели и скрылся.

– Чего ннна...ддо? – жуя, спросил ужинающий.

– А тебе на что? – крикливо отвечала женщина, садясь снова на свое место. – Вишь, нелегкая носит по ночам таскаться за бельем! – прибавила она себе под нос.

В подвале квартировала прачка Настасья Кирилловна с сожителем своим отставным унтер-офицером Куприянычем и двенадцатилетней дочерью Катей. Судьба Настасьи Кирилловны не всегда была так печальна: в молодости она была стройна и хороша собою и жила с бабушкой, женщиной небедной, но сварливой и строгой, которая никак не хотела выдать ее замуж, – может быть, не желая лишиться попечений внучки. Несмотря на строгость и зоркость бабушки, молодая мещанка, к несчастию своему, умела провести ее, и когда полк вышел из города, отчего Настя стала горевать и худеть, – старухе донесли о проделках внучки. Старуха лишила ее наследства и скоро умерла.

У Насти явилось много женихов: подозревали, что у ней есть деньги. Но она всем отказывала и, сделавшись первой прачкой в городе, дни и ночи работала, лишь бы скопить что-нибудь своей дочери Кате, которую любила с редкой нежностью.

Раз прачка простудилась и слегла; слезам ее не было конца. Мрачные мысли не давали ей покою. «Ну что, если я умру, – думала она. – Катя останется сиротой».

Вероятно, этот страх решил судьбу Куприяныча, который уже не раз сватался за Настю через сваху. Свадьба была слажена, как только прачка оправилась. Она решилась выйти замуж для своей Кати, потому что будущий муж имел капитал, по словам свахи, и желал иметь жену для одного порядка, по его собственным словам. Но каков был ужас молодых, когда на другой день после свадьбы они узнали, что оба ошиблись в своих надеждах: Куприяныч, обманутый слухами, ходившими по городу, рассчитывал тоже на капитал прачки. Но Куприяныч не оробел: он твердо сказал, что знать ничего не хочет, женился для спокойствия и не намерен работать!

Слезы и ссоры не замедлили украсить их жизнь. Прачка скрепя сердце вынула небольшую сумму, скопленную потом и кровью для своей дочери, и уплатила долги по свадьбе. Забот и трудов у ней вдвое прибавилось, потому что Куприяныч целые дни лежал на раскаленной лежанке с своими котами, которых так уважал, что не позволял никому до них дотрогиваться. Несмотря на отсутствие моциона, аппетит его был удивителен. Впрочем, очень понятно: жизнь его текла мерно и ровно, – ни забот, ни тревог он не знал. На Катю он смотрел как на вещь, необходимую в его доме. Раз ему пришла мысль вмешаться в воспитание Кати: он хотел ее наказать, но мать пришла в такое негодование, что Куприяныч махнул рукою, и его любовь сосредоточилась на котах.

Однако ж он любил их неодинаково: серо-желтый худой кот был вечно в загоне. Куприяныч кормил его так плохо, что бедный кот принужден был прибегать к краже, за что прачка беспощадно колотила его, довольная случаем выместить свою злобу, которую питала против кошек вообще.

Вероятно, вследствие чрезмерного голода серый кот решился последовать примеру своих товарищей и робко вскочил тоже на стол. Куприяныч замахнулся на него ложкой и проворчал:

– Ишь, туда же!

Бедный кот с ужасом соскочил со стола и кинулся на окно, возле которого сидела прачка; вероятно думая разжалобить ее, он нежно мяукнул.

– Я те помяукаю! уж придушу когда-нибудь! – грозно крикнула прачка.

Несчастный кот кинулся под кровать, но, увидя, что погони нет, тихонько взобрался на горячую лежанку – покушение, за которое уже не раз ему доставалось, – и, севшись на засаленную подушку, начал наблюдать за своими гонителями.

– А что Катя не ужинает? – спросил Куприяныч, глядя в глаза черному коту.

Прачка резко отвечала:

– Спит; разве не слышал, как она сверху пришла?

– Нет!.. а что?

– Да, говорит, там гости, в карты играют, а деньги так и валяются по столу!

И прачка злобно усмехнулась, потом сердито нахмурила брови и тяжело вздохнула.

– Вот, а ты зевай да жди денег! Не правда ли, она дура? – прибавил, улыбаясь, Куприяныч, обращаясь к черному коту, который облизнулся и подвинулся ближе к нему.

– Да что ты меня учишь? – грозно закричала прачка. – Слава богу, ни за кем еще не пропадали деньги! Уж, кажись, домовые хозяева хуже всяких жидов, даром что богатые да руки склавши сидят, а небось зажилить хотели два рубля! Ведь получила же!!

И лицо прачки всё задрожало; она сердито оттолкнула чашку со щами и, сложив руки, судорожно сжала их, как бы стараясь усмирить свое волнение.

– Слышь, отжилить хотели! а еще дом свой! – заметил Куприяныч дымчатому коту, который в ответ сладко зевнул.

– Да что за дом! знаем мы, как им достался: у племянника отжилили... мне Сидоровна всё рассказала! Намеднись я принесла наверх белье – горничная пьет кофей в кухне. Я и говорю: нельзя ли денег? «Обождите», – говорит. Ну, нечего делать! Если б не ласкали Катю, и дня бы не стала ждать. А то, словно барышню, сама ее завьет и читать посадит.

Прачка улыбнулась, но на одну минуту; лицо ее снова приняло сердитый вид, и она продолжала:

– Да и то сказать, чем моя Катя хуже ее?

Краска выступила на желтом лице прачки, и она, подумав, с ужасом сказала:

– Ну, а как я умру?.. что с ней будет?

И прачка задумалась, покачивая головой. Потом она гневно обратилась к мужу с упреком и сказала:

– Небось ты и себя-то не сумеешь прокормить?.. Сиротка!

Прачка вытерла слезы.

Куприяныч подмигнул котам и, указывая головой на жену, сказал:

– Ишь, плачет... Ну что расплакалась! – прибавил он, повернув голову к жене. – Лучше дело делай.

Прачка грозно привстала и презрительно закричала:

– Ах ты дармоед, лежебок! тебе лишь бы с своими котами лежать. Да ты смотри у меня: я их всех передую!

Прачка горячилась. Куприяныч равнодушно выносил гнев своей сожительницы и с любовью гладил по спине черного кота, который вытягивался, приподнимая заднюю лапку, и обнюхивал чашку.

Куприяныч поддразнивал жену:

– Ишь, душишь?!

– Да, задавлю! – кричала прачка.

– Только ударь! – грозно и мерно произнес Куприяныч, выразительно подняв руку.

В ту минуту на постели слышался детский лепет; занавеска раздвинулась: выглянула сонная испуганная головка хорошенькой двенадцатилетней девочки. Девочка пугливо произнесла:

– Мама, мама!

– Спи, спи, я здесь! – кротко произнесла прачка, и на ее лице не было уже и тени злобы.

Личико скрылось за занавеской. Прачка села на прежнее место, облокотилась рукой на стол и подперла голову. Куприяныч вытаскивал говядину из щей и кормил котов.

– Куприяныч! – вдруг произнесла прачка кротко.

– Что? – лениво отвечал муж.

– Знаешь что? – Лицо прачки прояснилось, по мере того как она продолжала. – Не попросить ли мне его милость устроить мою Катю? Ведь Семен Семеныч не раз говаривал мне, что его барин такой добрый, уж скольких пристроил! они теперь не хуже верхней живут. А чем моя Катя хуже, а?

Куприяныч всё свое внимание сосредоточил на котах, любуясь, как они опускали свои лапки в чашку и потом облизывали их.

– Ну что же ты молчишь? – обиженным тоном спросила прачка.

– А мне что за дело! Твоя дочь!

Прачка вспыхнула. В то же время взор ее упал на стол, и она увидела страшное зрелище: серый кот лизал чашку, из которой она ела. Прачка схватила его за уши, подержала на воздухе и с наслаждением брякнула об пол, сказав:

– Ах ты окаянный!

На мяуканье кота Куприяныч пугливо оглянулся и сердито заметил:

– Ну что расходишься?!

– Ну не грех ли тебе поганить посуду? Я их до смерти заколочу!

– Полно же озорничать! – уже смотря прямо на свою жену, сказал Куприяныч, и лицо его слегка сгладилось; серебряная серьга запрыгала в ухе.

Прачка стиснула зубы, бросила робкий взгляд на кровать и неожиданно повернулась спиной к грозному Куприянычу. Поправив светильню у лампы, нагар которой, упав в масло, жалобно зашипел, она прибрала немного в комнате и зевнула. Раздевшись, она осторожно улеглась возле своей дочери, продолжавшей крепко спать, перекрестила ее и долго еще, засыпая, шептала:

– Господи, господи, да будет воля твоя!..

А Куприяныч тем временем любовался, как его коты лизали чашку. Наконец и он начал зевать, прокричал котам:

– Ну, налево кругом! – и, быстро схватив чашку, опрокинул ее.

Коты поскакали со стола. Куприяныч погасил свечу и улегся. Постелью его была раскаленная лежанка, на которой без затруднения можно было бы зажарить жаркое. Но он только крикнул от удовольствия.

Через несколько минут храпенье обитателей подвала смешалось с мерным стуком дождя, падавшего на кирпичные тротуары, и с мурлыканьем котов. Лампада уныло освещала подвал и серого кота, который, почувствовав себя на свободе, везде лазил, всё обнюхивал;

наконец, устав, улегся на глаженном белье, уложенном в корзину, и своим мурлыканьем присоединился к общему концерту.

Прачка уже видела сон, что Катя ее выросла и, одетая в богатое шелковое платье, танцует с офицерами; сама же она сидит в хорошем обществе и пьет самый крепкий кофий.

А между тем молодой человек, закутанный в шинель, всё еще продолжал ходить около дома. По временам он садился у забора и приклонял к нему свою голову. Долго сидел он, не чувствуя, что шинель его намокла и отяжелела. Наконец шум внутри двора заставил его вздрогнуть; он одним прыжком очутился у калитки и тоже стал стучать. Калитка раскрылась, начали выходить разные господа, по-видимому весело убившие вечер, – молодой человек пропустил всех, заглядывая каждому в лицо. С шумным говором и хохотом разошлась вся компания в разные стороны, сопровождаемая отчаянным лаем собак.

– Ну что стал, свой, что ли? – спросила баба, закутанная в истертую ситцевую кацавейку, и готовилась запереть калитку.

– Сидоровна! – торопливо произнес господин, закутанный в шинель.

– А, это вы, батюшка! – сказала радостно Сидоровна.

– Я.

– Ишь, грех какой: не спознала тебя и испугалась. Родимый ты мой, ведь день-деньской наработаешься, а ночью то и знай, что ворота отворяй да затворяй.

Молодой человек не слушал Сидоровну: он смотрел на удаляющихся гостей.

– Вот тебе! – сказал он, всунув что-то в черствую руку старухи.

Сидоровна спрятала деньги и, кланяясь, сказала:

– Благодарствуй, батюшка, спасибо.

– Все ушли? – дрожащим голосом спросил он.

– Прах их знает! да, чай, уж скоро заблаговестят, опять иди отворять ворота.

– Ну а ты узнала, что я тебе велел?

– Как же, батюшка, как же.

– Ну?

– Вправду мне сказывала Олена Петровна: день-деньской сидит у них!

Молодой человек вздрогнул.

– Слышишь, – сказал он, – никому ни слова, не бери даже денег; я тебе дам больше, только не говори никому.

Голос его прервался, и он кинулся на другую сторону улицы.

Сидоровна посмотрела вслед ему, покачала головой и, зевая, захлопнула калитку.

Свет постепенно убавлялся в окнах верхнего этажа, наконец остался в одном крайнем окне. Кто-то подошел к окну, – штора быстро скатилась, и настал мрак. Молодой человек обнаружил признаки совершенного отчаяния; голова его упала на грудь, шинель скатилась с его плеч. Ветер дул ему в лицо, и крупные капли дождя, смешанные со слезами, текли по его лицу. Глухие всхлипывания надрывали его грудь.

Ветер выл, выл, наконец, как бы утомясь, начал стихать. Уныло прозвучал первый удар колокола к заутрене. Молодой человек встрепенулся и поглядел на все стороны. Однообразный звон гудел по пустынным улицам, ничем не заглушаемый. Вдали начали раздаваться тяжелые шаги и кашель спешивших к заутрене. Вдруг скрипнула калитка в доме, против которого находился молодой человек. Он привстал и не спускал глаз с калитки: кряхтя, вышла оттуда сгорбленная купчиха, вся в черном, ведя за собою седого старика в высокой меховой шапке, который торопливо постукивал своей палкой, как бы шупая прочность места, куда заносил ногу. Господин в шинели при виде стариков с ужасом кинулся бежать, как будто увидел что-то страшное.

Глава XIV

Кофейная близ театра

Молодой человек, которого видели мы в предыдущей главе, был актер на театре того города. Хотя он и занимал роли первых любовников, но его фигура не отличалась стройностью. Рост был хорош, но на сцене он как-то приседал и гнулся и оттого казался маленьким и горбатым. Глаза его были мутно-зеленоватые, с выражением грусти и бесконечной доброты; волосы густые, но почти желтые, одного цвета с лицом. Черты лица были, впрочем, правильны; но одутловатость портила всё. Робкий взгляд и неловкие движения придавали всей фигуре первого провинциального любовника бесцветность, в которой, однако, было столько жалкого, что вы невольно чувствовали к нему сострадание. Шестилетнее пребывание при театре не пошло ему впрок: на сцене он был так же робок и неловок, как в первый свой дебют; за кулисами – словно чужой между шумной толпой провинциальных актеров и актрис, где самые горячие дружеские излияния идут рядом с враждою и завистью; ни ссориться, ни льстить он не умел. С ним же все обходились с презрением, сознавая бессознательно его благородство, которое они понимали односторонне: по их мнению, оно заключалось в том, чтоб не раславлять чужих тайн, не клеветать, не перебивать дороги у собрата. Впрочем, он сам избегал дружбы с товарищами, которая особенно горяча бывала в первых числах месяца, когда получалось жалованье; начинали льстить: «Ты, брат, лихо сыграл свою роль!», предлагали выпить за успех, а потом, когда приходило к расчету, льстец незаметно исчезал или притворялся до такой степени подгулявшим, что его нужно было свезти еще домой на извозчике. С молодыми актрисами он также не мог сойтись; они считали унизительною даже вежливость с собратами своими по ремеслу, – перед бенефисом только делались ласковее, приглашали актеров обедать, поили в уборной своей чаем, а на другой день после бенефиса снова едва им кланялись. Если же актер, еще неопытный, приходил к обеду, то хозяйка вслух замечала о наглости людей, которые ходят без зова, обносила его вином и отворачивалась, если он спрашивал ее о чем-нибудь. Эти очень обыкновенные истории навсегда отбили у него охоту бывать где-нибудь, кроме кофейной, куда собирались все актеры и театралы.

Жалованье его было так незначительно, что едва доставало ему на скудный гардероб. На чужой счет жить он не умел. У него никогда не доставало духу навязываться в трактире к какому-нибудь купцу или театралу и платить за угощение домашними тайнами актрис. И если его угощали иногда молодые купцы, то единственно из любви к искусству. Он не решался также поправить свои дела, женившись на хорошенькой актрисе, чтоб жить роскошно... Не хотел также посвятить себя самолюбивым прихотям богатого одинокого купца, вооружая против него всех под видом правды и беспредельной своей дружбы, отвергая иногда даже довольно значительный подарок, в надежде, что бескорыстная дружба со временем оценится в каменный дом. Сколько нужно забот и ловкости, чтоб богатый купец только у него одного крестил детей и дарил крестнику на зубок ломбардные билеты в несколько тысяч! Он также не решался идти по дороге других молодых своих товарищей, которые проигрывали в один час вдвое больше, чем получали в год жалованья, пили с утра до ночи, угощая других, и еще хвастали...

Ему всё это было дико, – может быть, вследствие того, что он готовился быть купцом и сидеть в лабазе! Он был сын одного богатого купца. Старик был строг и держал своего сына взаперти до двадцати лет. Он не смел отлучаться на полчаса из родительского дома и почти не видел людей. Как вдруг старик скоропостижно умирает, сын остается единственным наследником. Молодой купчик поверил достояние свое дяде, а сам принялся жуировать. Приятели налетели со всех сторон к богатому наследнику. Разгул и карты сделались

единственным его занятием. Его познакомили с актерами, которые ели, пили на его счет, занимали у него без отдачи. Актрисы тоже не упускали случая пожить у него. Наконец дела пришли в такое расстройство, что долгам его не было счета. Дядя всё молчал и давал сам ему займы денег.

Неаккуратность в платеже и слухи о разорении озаботили его кредиторов, которые вдруг потребовали уплаты. Молодой купчик сам испугался своих долгов: он кинулся к дяде просить помощи, но тот тоже требовал уплаты долга. Ему грозила тюрьма: так были плохи его дела. Дядя сжалился над племянником и пощадил его. Друзья молодого разорившегося купчика, как жаворонки осенью, отлетели далеко-далеко; он очутился один, без денег, больной от разгульной жизни. Много вынес он унижения и горя. Вином заглушал он свою грусть и угрызения совести, не дававшей ему покоя, что так глупо было прожито отцовское наследство. Дядя видеть его не хотел, вероятно боясь, что племянник будет просить у него денег. Он ошибся: разорившийся купец был горд и только в забытьи, во время пирушки, вдруг, воображая себя всё еще богатым, желал вмешиваться в игру, шумел и важничал; его отталкивали, называли нищим, – он заливался слезами, просил денег у всех присутствующих, чтоб отыграть свое богатство. Грубые насмешки были ответом несчастному; он метался в отчаянии, осыпаясь колкостями. Раз в такую минуту к нему подошел утешитель; он сам был уже навеселе; но речи его так были красноречивы, что разорившийся купец кинулся в объятия утешителя и на груди его рыдал, жалуясь на людей; то была первая жалоба его на ближних своих. Под общий смех, пошатываясь, они вышли из кофейной. Утешитель привел несчастного к себе на квартиру; долго они говорили о людях и других предметах. На другое утро, проснувшись, оба они дивились, как разорившийся купец попал в комнату актера.

Остроухов был талантливейший актер в городе и любим публикой; но невоздержность делала его жалким. Голос его был постоянно хриплый, память исчезла: ролей он никогда не знал. Содержатель театра держал его единственно для обстановки пьес и дельных советов, которые он иногда давал молодым актрисам и актерам.

Утром, за бутылкой, Остроухов подал мысль разорившемуся купцу вступить в актеры. Через несколько месяцев на театре появился дебютант Мечиславский: купчик скрыл свою настоящую фамилию Демьянов, страшая дяди, который пришел в негодование от такого поступка и торжественно лишил своего племянника наследства. День дебюта был замечательным днем в жизни Мечиславского. Театр был полон, каждый желал посмотреть на дебютанта, которому во время оно многие льстили, обыгрывая и обманывая его. Благодаря бывшим друзьям промотавшегося купчика рукоплескания не умолкали. Его вызывали несколько раз; вызывая и хлопая, друзья думали похвалиться с погибшим через них и радовались, что совесть их теперь навсегда очищена.

Остроухов чуть не прыгал от радости за кулисами. Он знал роль Мечиславского наизусть и повторял ее за ним, – приходил в отчаяние, если тот не так читал, и кричал из-за кулис на сцену: «Громче! больше жару, махни рукой, ударь, да ударь сильнее в грудь!» А актерам и актрисам, стоявшим за кулисами и болтавшим между собой, он сердито замечал: – Тише, ради бога, тише!

Но его замечания только разжигали говорящих; они нарочно страшно шумели, зная очень хорошо, что тем заглушают голос дебютанта, и без того робкого, и отвлекают его от своей роли.

После спектакля Мечиславский сидел в кофейной, где некогда его знавали сначала в богатстве, потом в унижении; теперь снова ему жали руки, поздравляли с успехом, угощали его и пили за его здоровье.

Каждый из окружавших его теперь, казалось, гордился сознанием, что если бы не его содействие в разорении, то талант погиб бы в лабазе.

Остроухов условился с содержателем театра, который, зная критическое положение дебютанта, долго не соглашался дать ему порядочное жалованье. Мечиславский подписал контракт и принял звание провинциального актера. Жизнь за кулисами не полюбилась Мечиславскому: он неохотно шел в театр и скоро стал равнодушен к вызовам и рукоплесканиям. На него находили минуты страшного отчаяния, особенно после разгула. Он проклинал своего друга Остроухова, зачем тот втянул его в эту кипящую жизнь, где вечно шум, смех, клеветы, зависть, лицемерие. В эти минуты он сознавал вполне свое ничтожество, и его отчаяние доходило до страшной степени. Припадок оканчивался обмороком, а на другой день Мечиславский, очнувшись, ничего не помнил; только тоска долго его душила, и он не выходил из дому. Остроухов, приписывая всё это частому разгулу, стал сдерживать себя и своего друга. По-видимому, последний начал свыкаться с жизнью провинциального актера: припадки сознания реже повторялись.

Но тут случилась другая беда: Остроухов поссорился с содержателем театра. Мечиславский не хотел расстаться с своим другом, и, составив довольно жалкую труппу, они стали разъезжать по ярмаркам. Удачи не было. К счастью, нашелся благодетель, который предложил Мечиславскому съездить с ним в Петербург, чтоб посмотреть игру столичных актеров. Вернувшись через три месяца и застав Остроухова в самом бедственном положении, Мечиславский уговорил своего друга поступить вновь на театр города NNN, имевший уже более средств. Город NNN радостно принял любимца своего Остроухова и его друга Мечиславского, в котором произошла большая перемена. Он перестал кутить, начал заниматься своими ролями, раньше всех приходил на репетицию и даже поссорился с кем-то за кулисами. Эта перемена в Мечиславском, однако ж, не была никем замечена за кулисами: в то время внимание всех было устремлено на вновь прибывшую молодую актрису Любскую, с появлением которой сцена ожила, и за кулисами происходили целые драмы и комедии. Соперница ее, актриса Ноготкова, особенно покровительствуемая одним богатым любителем театра, женщина лет двадцати, недурная собою, не могла вынести, что Любская играет ее роли. Нужно заметить, что театр был поддерживаем многими богатыми людьми этого города, которые во что бы то ни стало желали соперничать с столичными театрами и хвастали, что у них на театре есть отличные артистки. Содержатель театра был человек грубый, необразованный; он сначала держал труппу паясов, потом кочующих актеров, с которыми бродил по ярмаркам; наконец, заехав в город NNN, он вошел в долю с любителями театра, которые проживали состояние свое на эту страсть, и основался там постоянно с своею труппою. В городе NNN даже составил балет; а это большая редкость в провинции.

Любская была стройна, хороша собою, особенно манеры резко отличали ее от прочих актрис своею грациею. Как актриса, она еще не была замечательна; но учила свои роли, обдумывала их, слушала с благодарностью замечания опытных актеров, а не смеялась им в глаза, как другие самонадеянные актрисы.

О ней никто ничего не знал; приехав в город, она явилась сама к содержателю театра и объявила ему, что желает дебютировать. Он представил ее любителям театра, которые остались в восторге от новой дебютантки, тем более что она умела не только читать свои роли, но даже правильно писала, знала немного иностранные языки. Театр был полон всегда, когда она играла. Но не прошло недели, как Ноготкова начала интриговать, и Любская подверглась преследованиям. Ей не давали нового костюма, в то время как Ноготковой шили дорогие платья. Лучшие роли тоже давались опять Ноготковой, а те пьесы, где Любская имела успех, совершенно исчезли с репертуара. Дошло раз даже до того, что Любской подставили шатающуюся скамейку, на которую ей нужно было лечь: она упала, — дикий хохот Ноготковой раздался за кулисами и изобличил ее благородный поступок. Если публика принимала Любскую хорошо, что почти было всегда, то Ноготкова, стоя за кулисами в великолепном платье и в брильянтах, топала ногами, грозила кулаками и страшно бранилась. Содержатель театра

спешил успокоить Ноготкову каждый раз, когда Любскую больше вызывали: он грозился выгнать Любскую с своего театра, но, страшая любителей театра, довольствовался мелочным притеснением. Часто Любская, играя веселую и беззаботную девушку, глотала слезы и по окончании сцены, убежав в уборную, горько плакала. Иногда, выведенная из терпения, она сама сердилась и кричала не менее Ноготковой. Все были против Любской, зная, что Ноготкова имеет больше влияния. Каждый рассчитывал на ее покровительство, исключая Остроухова и Мечиславского, которые защищали угнетенную и за то страдали не менее ее.

Мечиславскому и Любской приходилось часто играть вместе. Публика рукоплескала им в горячих сценах изъяснений в любви. Мечиславский начал обнаруживать талант, так что благодаря его одушевлению игра самой Любской стала развиваться. Вне сцены, однако ж, Мечиславский по-прежнему был робок и молчалив, особенно с Любской.

Любская не последовала привычке, принятой в кругу актрис и актеров, говорить друг другу «ты», она ограничилась только Остроуховым. Со всеми остальными она была далека.

Остроухов не мог понять, что делается с его другом: в Мечиславском с некоторых пор началось болезненное волнение и раздражительность. На репетиции он забывал иногда твердо заученную роль, обо всё спотыкался, и если приходилось обнять Любскую, то он не решался или так неловко это делал, что обрывал ей кружева, наступал на платье.

Ноготкова первая заметила странности Мечиславского и, зная, что ничто так не вредит молодой актрисе, как ее склонность к собрату, распустила слухи, будто Мечиславский влюблен в Любскую и пользуется ее расположением. На другой день почти весь город говорил об этом. Услужливые актрисы и актеры из любви к искусству сплетничать, под видом участия и дружбы, силою навязали Любской и Мечиславскому сплетни Ноготковой. Первая, пожав плечами, улыбнулась этому, как вещи невероятной, зато последний в первый раз вышел из себя и чуть не побил услужливого вестника закулисных сплетней.

Остроухов наконец догадался о состоянии Мечиславского, который с каждым днем делался мрачнее и мрачнее, не ел, не пил, всё сидел дома.

— Ну что ты делаешь? А? не стыдно ли? — так начал Остроухов, после неудачных усилий затащить Мечиславского обедать в трактир. — Ты поверил дуракам... да уж ты не тово ли?.. Да, брат, опоздал!

Остроухов подмигнул.

Мечиславский весь вздрогнул и резко спросил:

— Как?.. что?..

— Тьфу пропасть! ну что тарачишь глаза! — с досадою сказал Остроухов, робко поглядывая на своего друга. — Ну что тут такого! дело обыкновенное; вот, слава богу! Что, она не такая же актриса, как и все?

— Ты знаешь его? — глухим голосом спросил Мечиславский, стараясь придать своему бледному лицу спокойствие.

Остроухов медлил ответом, смотря в лицо своему другу. Вдруг, махнув рукой, он со вздохом сказал:

— Поди в нашу кофейную: он там играет на бильярде. Высокий и красивый такой.

— Отчего ты раньше мне не сказал? — сжимая кулаки и стиснув зубы, закричал Мечиславский.

— А на что? — с упреком спросил Остроухов.

Мечиславский, ничего не отвечая, оделся, взял фуражку и вышел.

— Обедать, что ли? — глядя с участием вслед Мечиславскому, спросил Остроухов, но не получил ответа и махнул отчаянно рукой.

Содержатель кофейной дорожит близостью театра. До пробы, после пробы, во время спектакля и после — всегда публика, особенно бильярдная. В провинции это то же, что фойе французского театра. Тут зарождаются слава и падение актрис и актеров. Закопченные стены

бильярдной слышат каждый день самые сокровенные тайны актрис. В такую кофейную спешат молодые купчики покутить с актерами, которые, прибежав с репетиции, поспешно едят и пьют на их счет и снова убегают за кулисы; сочинители драм, водевилисты – первые с важностью декламируют стихи из своих драм, вторые говорят не иначе как плоскими островами и каламбурами из своих водевилей и поют всем и каждому свои вновь сочиненные куплеты. Туда же забегают отогреться полузамерзшие вздыхатели без капиталов после часового дежурства у подъезда, где выходят актрисы. Туда бежит и зевака развлечь себя и послушать сплетней, чтоб разнести их потом по городу и в те дома, которые редко посещают театры.

В бильярдной всегда шумно. Известные игроки с важностью следят за игрой своего собрата с новичком. Говор, стук киев не умолкают. Табачный дым слоями стелется по комнате. Иногда только, в очень интересные представления, бильярдная отдыхает, и маркер, играя сам с собой, уныло мурлычет нараспев: «Два и ничего! тридцать и ничего!» Есть актеры, так привыкшие к шуму, что часто учат роль в бильярдной, и если не сбиваются, то, значит, она хорошо заучена.

Мечиславский пробрался прямо в бильярдную и, сев в угол, стал рассматривать играющих на бильярде. Высокий, красивый мужчина, с кием в руке, принимал важные позы после каждого своего удара, как бы приготавливаясь к снятию своего портрета. С ним играл актер, лицо которого было испещрено черными бородавками; он резко отличался своими унижительными ужимками от гордо-плавных движений своего партнера. Мечиславский не спускал глаз с играющих, как вдруг позади его раздался сиплый голос:

– Здравствуй, Федя!

Мечиславский неохотно повернул голову: перед ним стоял небольшого роста господин с опухшим лицом; важно драпируясь в коротенький плащ, почти детский, и прищуривая глаза, и без того едва видные из заплывших век, он важно сказал:

– Послушай, какой я сочинил сюжет для своей новой драмы! чудо! – И господин с опухлым лицом, гордо закинув голову, продолжал: – Слушай же, и для тебя есть роль хорошая!.. Объявлена война; жених идет в поход; он приходит прощаться с своей невестой, которая страшно его любит, плачет, не пускает его. Раздается у окон бой барабана. Невеста падает в обморок. Жених, в отчаянии, бежит. Вдруг удар грома; молния ударяет в окно, разбивает его. Раскаты грома усиливаются, ветер воет, окно горит, наконец, стена в пламени, занавес опускается... А что, эффектно? а? – И сочинитель драмы самодовольно смотрел на Мечиславского, который машинально кивнул головой, не спуская глаз с играющих. – Первый акт будет называться «Прощанье и Буря»!.. Второго действия я еще не обдумал; но зато последнее... о-о-о! просто чудо!.. Эй, рюмку! – закричал он вошедшему слуге и, снова обратись к Мечиславскому, с жаром продолжал: – Поле сражения, слышен бой барабанов и стрельба за кулисами... вдруг...

– Извольте! – проворно крикнул слуга сочинителю, который, выпив несколько рюмок сряду под счет слуги: раз и два, продолжал свой рассказ:

– Поле сражения, из-за кулис бегут русские и неприятель. А что лучше – турки или французы? – И, не дождавшись ответа, сочинитель продолжал: – Турецкий костюм живописнее на сцене. Но вот что плохо: ведь ваш режиссер не любит меня, – он уронит мою драму. А, да я отдам ее в бенефис Ноготковой! Поле сражения должно быть очень хорошо обставлено: солдаты, раненые и мертвые, валяются по сцене... недурно бы и лошадей разбросать. Ну да уж куда ни шло! Восемьсот выстрелов, кроме пушек, – вот главное! Ну, слушайте дальше: на руках своих офицеры тащат юнкера, раненого. Их окружают другие офицеры. Сражение выиграно. Офицер рассказывает о храбрости молодого юнкера, который был в походе его другом и грудь свою подставил под пулю, предназначенную ему. Все приходят в умиление. Является доктор. Хотят осмотреть рану, расстегивают мундир. О, ужас – женщина!

«Владимир! – слабо говорит девушка. – Я твоя Ольга!»

«Ольга!» – кричит с ужасом Владимир.

«Я умираю! прости!» – и она подает ему обручальное кольцо.

Жених в отчаянии кричит: «И я тоже!» – хватает шпагу, прокалывает себя и падает возле своей невесты. Все плачут, слышен бой барабана... Ура! Множество солдат является на сцену с пленными. Вдали пожар и колокольный звон. Занавес опускается! – торжественно окончил сочинитель драмы и крикнул: – Эй, Петруша, анисовки!

И затем он начал сильным голосом декламировать стихи, махая руками и с жаром ударяя себя в грудь.

Мечиславский ничего не слышал: он жадно прислушивался к словам видного мужчины, который, рассказывая что-то, упомянул имя Любской. Сочинитель драмы в то время, держа рюмку в руках, важно декламировал, а слуга, стоя с подносом возле него, смеялся, осматривая изорванный локоть его фрака. Весь театр и всё, что принадлежит к нему, знало несчастного сочинителя драм, которые творились в несколько дней, по заказу актрис и актеров. В случае нужды сочинителя запирали в комнату, лишали сапогов, давали перо, бумагу и чернила да графин водки в день для вдохновения. И драма в пяти действиях с прологом в несколько дней являлась в свете, а потом и на сцене. Труды автора мало ценились актерами и актрисами. Рублей двадцать пять, данных в разное время по мелочам и с нотацією, что его драма ни гроша не стоит, – вот и всё награждение, какое получал сочинитель за свои труды. Он был принимаем актерами и актрисами только тогда, когда бывал нужен им, а в другое время его грубо выгоняли. Впрочем, эти господа и с лучшими авторами так поступали. Если хотите взять деньги, то надо быть очень осторожным: давая свою пьесу бенефицианту, нужно заранее сделать условие, а не то вместо денег получите в подарок булавку с фальшивыми бирюзами.

Сочинитель драмы, переговорив со всеми, опять подсел к Мечиславскому.

– Скажи-ка, Федя, неужели Любская пленилась этим молодцом, а?

И он указал на видного мужчину, который, в ту минуту проходя мимо, громко сказал, обращаясь к двум молодым людям:

– Господа! вечером к Любской: я дома.

Сочинитель драмы страшно засмеялся. Мечиславский вскочил с своего места и как вкопанный остановился, дико глядя на всех. Лицо его приняло мрачное выражение, которое, впрочем, скоро сменилось обычным кротким взглядом.

Мечиславский, склонив голову на грудь, задумался. Он думал о положении провинциальных актрис. Самолюбие женщины страшно раздражено на этом поприще. Туалет есть часть ее славы; а небольшого жалованья неостанет даже и на мытье тонкого белья!

Остаться твердою посреди вечного соблазна мудрено. Мечиславский судил по себе и знал, что сценическая жизнь требует роскоши и удаления всех мелочных забот.

– Глупа она! – начал сочинитель драмы. – Право, глупа! ведь он в дружбе с Ноготковой тож! Жаль, а тут может выйти драма! – И сочинитель начал декламировать стихи:

Отдай Гирея мне – он мой!

Мечиславский вздрогнул, провел по лицу рукой и кинулся из бильярдной.
А сочинитель воскликнул с жаром:

Но знай: кинжалом я владею:
Я близ Кавказа рождена!!!

Глава XV

Проба

Во время репетиции внутренность провинциального театра представляет жалкий вид. Партер и ложи темны и пусты; самая сцена освещена тускло – свечами оркестра или лампами. Голубоватый дневной свет, пробивающийся в каждую щелку, ложится полосками по неровному полу; кулисы обнажены; вместо парусинных деревьев или дверей и окон видна одна грязная лестница, упирающаяся в потолок сцены, который весь усеян разными блоками, веревками, свернутыми парусиновыми облаками; тонкие доски, как висящие мосты, перекинуты в разных направлениях по ним, покачиваясь, ловко перебегают плотники или декораторы с иголками и лоскутами парусины для починки порванной пещеры или облака; пропитанные маслом ламповщики лениво лезут по лестницам, приготовляя к вечеру лампы. Шум, гам во всех углах; таскают с одного места на другое декорации, выбирают нужную мебель в бутафорской. Бутафорская – небольшая шумная комната у самого оркестра, наполненная чучелами, чашками, канделябрами, мебелью и всеми принадлежностями уборки комнат; тут же ход в суфлерскую, то есть стул на возвышении: сядьте – и ваша голова очутится в широком отверстии, выходящем на сцену; туда также сажают под арест провинившихся хористов, а иногда даже и актеров. Остальное пространство под полом занято громадными колесами, рычагами, веревками. Плотники стучат топорами под шумные распоряжения машиниста, поминутно бегающего то наверх, то со сцены под пол.

Под этим-то громом и сумятицей идет репетиция какой-нибудь кровавой драмы или воздушного балета. Из фойе слышны пение, шарканье и задыхающийся голос, повторяющий: раз, два, три! Актеры и актрисы в разнообразных костюмах, кто в шубе, кто в сюртуке, кто в чепчике, кто в шляпке, кто закутанный в шерстяной шарф, шмыгают из кулисы в кулису. Главные актеры с ролями ходят по сцене в разных направлениях и, нахмутив брови, протверживают свои роли, которые держат у носу, с трудом разбирая их в темноте. Слышен страшный крик: «Место! место!» Тащат кулису; в то же время пронзительный голос декоратора раздается на сцене:

– Слева! № 1: тень!

Люк раздвигается до половины. Появляется голова рабочего и тотчас исчезает. Если ошибутся, декоратор бежит вниз с страшными угрозами.

Наконец действующие лица репетируемой пьесы собрались на сцену. Режиссер поминутно смотрит на часы и кричит:

– Господа, помните: пять минут осталось, только пять минут!

Дело режиссера обставлять пьесу, стоять за кулисами, выпускать хористов и актеров на сцену по ходу пьесы, которую он держит в руках, высылать актера, когда его вызывают. На репетиции он главное лицо: вычитает из жалованья, если актер не явится в назначенный час, делает выговоры.

– Все ли собрались? – кричит режиссер.

– Любской, Остроухова и Орлеанских нет, – отвечает суфлер из своей будочки.

Репетиция замедляется.

Между тем за кулисами две низшего сорта актрисы хвастают друг перед другом. Одна говорит:

– Мне вчера купил шляпку.

– А мне заказал салоп в двести рублей, – отвечала Другая.

– Да, счастливые! – раздается вдруг поощрительное восклицание третьей женщины, которая, пользуясь темнотою, подслушивала.

К ним присоединился актер с неприятными ужимками, с лицом, испещренным бородавками. Поцеловав ручки хвастающихся и каждой наговорив множество лести, он спросил у одной из них:

– Ну а здоровье Василия Сергеича?

– Да, проказник! тебе на что? – было ему ответом; и слова эти сопровождались презрительным взглядом.

– О, какие вы злые! а я-то как старался, ей-богу: всякий день всё только про вас и твердил ему!

– Да, несчастная! воображаю! – воскликнула опять актриса.

Актер отошел и, обращаясь к другой кучке актрис, горячо споривших, заметил, указывая на прежнюю свою собеседницу:

– Как вздернула нос-то!

– Кто? а? – в один голос спросили все.

– Купоркина! – отвечал актер.

– Правда, что Василий Сергеич хочет на ней жениться? – вся побагровев, спросила одна из них; прочие громко засмеялись.

– Чему вы здесь смеетесь?

Этот вопрос был сделан худенькой женщиной в коротеньком платьице, закутанной в большой платок, которая вдруг подскочила к толпе.

– А, здравствуйте!

И актер, украшенный бородавками, вытянул губы, чтоб поцеловать ей руку.

– Ай, девицы... ай, урод! – с сердцем закричала худенькая женщина и затопала ногами.

– Ну, виноват, виноват; а я вам хорошую новость хотел сказать: Бунин влюблен в вас до безумия; говорит: буду просить руки!

– Да счастливая Настя! да, девицы! – воскликнуло несколько женщин разом.

Худенькая женщина самодовольно улыбнулась, ухватила за кулису и начала делать батманы, стараясь задеть ногой актера, который, хохоча, гримасничал и ломался.

– Место, место! – крикнули два мужика, тащившие двухэтажную избу. Актрисы шумно разбежались.

На противоположной кулисе ссорились две молоденькие танцовщицы; вокруг них составилась кружок.

– Ты думаешь, что он купец, так я тебе позволю вперед лезть, чтоб тебя все видели! Это мое место! – кричала белокурая очень недурная собой женщина; но гнев портил ее миниатюрное личико.

– Да, девицы, да, счастливая! шутка ли, какая важная особа! – отвечала другая танцовщица.

– Тише, господа, тише! – кричал режиссер, а сам прикладывал ухо, чтоб тоже послушать ссору, которая, может быть, кончилась бы трагически, если б в ту минуту не спустилась сверху дверь и не разлучила ссорящихся.

Сцена всё больше и больше наполнялась. Ноготкова, наряженная безвкусно, сидела на стуле у будки суфлера – место очень почетное. За кулисами больше ни о чем не говорили, как о новой шляпке Ноготковой.

– Да, счастливая, да, урод, да, девицы!! – раздавалось во всех углах и на все тоны. Актер с бесчисленными бородавками, присев перед Ноготковой, дивился и умилялся, нахваливая ее туалет.

– Экая красавица! всё на ней хорошо!

– Что же, пора? – крикнула Ноготкова.

– Любской еще нет! – отвечало несколько голосов разом из темных кулис.

– Я не намерена ждать всякую дрянь! – презрительно проворчала Ноготкова.

Актер с бородавками обрадовался случаю и начал передавать разные сплетни насчет Любской. Ноготкова громко смеялась. Запыхавшись, пришла толстая старая женщина, небрежно одетая, ухватками и лицом очень похожая на торговков, продающих картофель; впрочем, амплуа, которое она занимала, соответствовало ее характеру и фигуре. Ее фамилия была Деризубова. Она подскочила к актеру, сидевшему перед Ноготковой, и со всего размаху ударила его в спину, закричав:

– А ты, пострел, везде поспел!

Эта грубая шутка всех рассмешила. Актер с бородавками упал в ноги Ноготковой и заохал под общий хохот.

– Здравствуй, Машка! – дружески кивнув головой, сказала Деризубова Ноготковой и в ту же минуту стала осматривать ее туалет со всех сторон, делая отрывистые вопросы: – Что дала? аль подарили?

Ноготкова страшно преувеличивала ценность своих вещей, – слабость довольно обыкновенная у актрис: они думают возбудить зависть одних и приобрести уважение других, хватаясь дороговизною подарков.

Появление Любской с Остроуховым привело в волнение всю сцену: каждый спешил посмотреть, как Любская одета. Простой ее наряд никому не понравился.

Режиссер встретил их следующими словами:

– Вы опоздали, с вас штраф!

– Две минуты, – отвечала Любская, смотря на свой часы.

Это возбудило шепот и перемигивание. В кулисах слышались восклицания: «Да, счастливая! какие маленькие – в четвертак!»

– Да как они ей достались? просто дура!

– Всё равно! – отвечал режиссер.

– Вы ошибаетесь: штраф положен за пять минут! – возразил Остроухов.

– Ишь какой! так и есть, как бы не так! – подхватила Деризубова, подбоченясь. – Мы-то чем хуже ее? небось ни минуты не заставляем ждать.

– Начинать, начинать! Дамы и гости, выходите! – закричал режиссер.

С середины сцены хлынул народ – стало просторнее. Из-за кулис появилось с одной стороны несколько хористок в разнородных костюмах с работою в руках; с другой – небритые, в сюртуках, хористы.

– Сделайте одолжение, дайте мне стул, – вежливо сказала Любская, обращаясь к кому-то из мужчин, стоявших за кулисами.

– Помилуйте, вы всю сцену заставите! – подхватил режиссер. – Нельзя! – крикнул он в кулису.

Ноготкова, постукивая ногой, насмешливо глядела на Любскую, которая, покраснев, отвечала горячо:

– Другие же сидят! – и она указала на Ноготкову.

– Мало ли что, голубушка! то другие! – сказала Деризубова, гримасничая, и, подщелкнув языком, прибавила: – Знай наших!

Любская закусила губы и искала глазами стула за кисами; вдруг из первой кулисы, совершенно темной, явилась фигура со стулом. То был Мечиславский; он неловко поклонился Любской и подал ей стул.

– Гляди-ка, Маша! Вот-то лабазник! – сказала Деризубова. Хохот раздался в некоторых кулисах.

Любская побледнела и хотела было идти к Деризубовой; но Мечиславский остановил ее, спокойно сказав:

– Пусть их тешатся своими грубостями. Оставьте их!

– Здоровы ли вы? – спросила Любская, глядя на бледное лицо Мечиславского.

Ничего не отвечая, он поспешно скрылся опять за кулису.

(То было то самое утро, которое встретил он под окнами знакомого нам дома.)

Хотели было начать репетицию; но оказалось, что Орлеанских нет. Это были муж с женой – первые актеры, хотя супруга имела единственный дар: так кричать, что за кулисами все боялись ее; а на сцене в патетических местах ей иногда даже удавалось голосом своим производить эффект. Она вмешивалась во все сплетни, вечно ссорилась и через своего мужа имела голос у содержателя театра и любителей. Она льстила тем, в ком видела выгоду, и тотчас начинала притеснять их, как только добивалась своей цели. Несмотря на то что у ней было огромное семейство, она имела претензию на молодость и красоту. Как драматическая актриса, играя часто герцогинь и разных важных дам, она приобрела привычку ходить с необыкновенной торжественностью – мерно, тяжеломерно, – глядеть важно; но не очень чистые поступки и льстивые слова не соответствовали ее величавой осанке.

Остроухов встретил Орлеанских объявлением о штрафе, которым угрожал режиссер всем опоздавшим.

– Что! штраф?! – грозно повторила Орлеанская, подходя к режиссеру.

Режиссер нежно улыбался и ловил руку Орлеанской, чтоб поцеловать, приговаривая:

– Ей-богу, совладать нельзя: все хотят тянуться за вами!

Орлеанская самодовольно улыбнулась, презрительно посмотрела на всех присутствующих и засмеялась громко.

Режиссер забил в ладоши: все расступились. Орлеанская, понюхав табаку, удалилась в глубину сцены. Ноготкова встала и пошла за нею; они поздоровались. Орлеанская выступила медленно, с страшным топотом, вероятно думая сообщить своей походке величие герцогинь (она должна была играть роль герцогини), и прочла монолог; Ноготкова читала свой, поминутно останавливаясь, и если суфлер ей подсказывал, она кричала:

– Ах, надоел! я знаю! не сбивай!

Явился Орлеанский с ролью в руках; он стал на колени перед герцогиней (то есть своей женой) и сделал вид, будто подает бумагу.

– Встань! – важно сказала герцогиня.

Орлеанский начал читать свою роль; в то время жена его разговаривала с Ноготковой о шляпке и о Любской.

– Герцогиня! Итак, спеши! – кричал суфлер.

Орлеанский заметил своей жене, чтоб она или болтала, или репетировала.

– Что ты меня учишь? Я свою роль знаю, по мне хоть и не репетировать.

Однако ж Орлеанский окончил сцену как следует, а жена, назло ему, пробормотала свою кое-как. Орлеанский должен был прийти поцеловать руку у герцогини, чего он не исполнил, потому что супруга его в то время стояла к нему спиной и болтала. Он пошел было вон со сцены, но вдруг остановился и спросил режиссера:

– А с вашей стороны дверь будет?

– С левой! – отвечал ему режиссер.

– Да помилуйте, я должен спиной повернуться к герцогине... что вы?

– Что делать! декорации старые: не приходится дверь иначе, как налево.

Репетиция приостановилась, потому что Орлеанский долго спорил с режиссером об двери.

Когда настала минута репетировать Любской с Мечиславским, последний пришел в сильное волнение; в голове его закружилось, в ушах зазвенело.

– Герцог! Я исполнил долг свой! – кричал ему суфлер.

Но волнение Мечиславского возрастало. Он не спал всю ночь и слишком много выстрадал в несколько часов. Силы видимо изменяли ему. Заметив возрастающую бледность его

лица, Остроухов подскочил к нему, и Мечиславский, пошатнувшись, упал без чувств на руки своего друга.

– то с вами? – с испугом спросила Любская.

– Ничего, так; дурно ему, – сказал Остроухов.

Но слово «Пьян! пьян!» раздавалось всюду.

Режиссер подошел и сказал Мечиславскому:

– С вас штраф и под арест, по приказанию Ивана Артамоныча.

– Какой штраф! смотри, он, может быть, уж не дышит! – гневно сказал Остроухов. И, обращаясь к кулисам, закричал: – Братцы, пособите!

– Надо доктора! скорее доктора! – кричала Любская, заглянув в посинелое лицо Мечиславскому.

– Выспится! всё пройдет! – смеясь, заметила Деризубова.

Мечиславского отнесли в уборную. Сделалось смятение. Во всех кулисах только и говорили, что об Мечиславском и Любской. Но скоро сцена очистилась; в оркестре начали настраивать инструменты. Пол улили водой; забегали танцовщицы в коротеньких платьях. Заиграла веселая музыка, и зашаркали.

Мечиславский и Любская были совершенно забыты.

Глава XVI

Провинциальный театрал

В одиннадцать часов утра, в комнате, довольно пышно убранной, сидел за туалетом господин важной осанки, очень пожилых лет. Камердинер страшно суетился около своего барина, который, вымывшись десятью сортами мыл, вылил банку жидкости на свое лицо, отчего желтизна исчезла, а вслед за тем выступил на щеках нежный румянец. Брови были слегка подкрашены, остатки седых волос густо были смазаны черным фиксатуаром и все торчали кверху, с целью скрыть лысину, которая едва виднелась, как пруд, заросший травой. Обвислый подбородок подтянулся черным высоким атласным галстуком, а воротнички рубашки врезались в его щеки и тем скрыли не одну морщину. Корсет придал пышности его изумительно выпрямленной талии. И когда туалет был окончен, камердинер мог с гордостью сказать, что труды его увенчались полным успехом, потому что господину с важной осанкой смело можно было убавить несколько лет. При вступлении в кабинет первым делом господина с важной осанкой было посмотреться во все зеркала, которых было тут девять, и потом уже усесться на диван за круглый стол, на котором был сервирован кофе. Кабинет своей меблировкой очень походил на самого владельца. Хотя всё уже было подержанное, но с первого взгляда казалось роскошно и эффектно: везде позолота, бархат; но всё это, начиная с цвета лица господина до серебряного сервиза, из которого он кушал кофе, всё было фальшивое, исключая только попугая, заключенного в клетке, да огромной черной собаки, лежащей на бархатной подушке у топившегося камина. Слегка высохшие цветы на окнах, картины в позолоченных и закопченных рамах, статуэтки, почерневшие от времени, – всё вместе было как-то уныло, так что становилось не только жаль самого владельца этого кабинета, но даже собаки и попугая его.

Впрочем, письменный стол один имел отпечаток жизни: на нем стояло до десяти женских портретов в характерных костюмах с эффектными позами. По столу валялись башмачки танцовщиц, браслеты, сухие цветы, перчатки, а под стеклянным колпаком на бархатной красной подушке лежала женская ножка из гипсу. Тут же стояла коллекция бабочек. Он уверял, что сам ее составил.

Пока господин с важной осанкой пил кофе, у него перебивало множество просителей, в том числе и кредиторы. Надо было изумляться любезности и ловкости, с какою обходился он со всеми, так что почти все без исключения оставались им довольны; кредиторы, обезоруженные и как бы пристыженные его любезностью, сами же просили извинения, что беспокоили его.

В числе просительниц была и знакомая нам прачка с дочерью. Катя понравилась важному господину, и он обещал пристроить ее куда-нибудь.

Потом явилось несколько молодых людей, из разговора которых можно было сейчас догадаться, что они принадлежат к числу самых страстных театралов. Все сплетни кулис и даже партера – всё было передаваемо наперерыв друг другу. Когда коснулись Любской и Мечиславского, господин с важной осанкой оправил важно галстук, может быть, чтоб скрыть некоторое волнение, и равнодушно сказал:

– Господа, я нахожу, что вы уж слишком черните ее, хоть я и не из числа ее поклонников.

Гости выразительно переглянулись между собою, потому что, как им были известны тайны кулис, столько же тайны театралов были доступны каждому, кто желал их знать. Весь театр, даже почти весь город, знал, как господин с важной осанкой ухаживал за Любской, но не достиг ничего. Сначала он подсылал своего камердинера и его приятелей в театр, когда играла Любская, чтоб аплодировать ей и вызывать до пяти раз, потом сажал их, чтоб шикать.

Всем были известны многочисленные меры, перепробованные им, и его равнодушию мало верили.

– Я вас уверяю, что это правда, – с жаром подхватил молодой человек в необыкновенно узком платье и с лицом, усеянным угрями.

– Фи, фи! какое злословие, господа! в наше время мы заглушали такие слухи, а вы их распускаете.

– Дашкевич хочет его вызвать на дуэль, – проговорил молодой человек с угрями.

При этом имени лицо господина с важной осанкой заметно искривилось; но он сладким голосом сказал:

– Я его считаю за порядочного человека: если б даже слухи были справедливы, он не стал бы драться со всяким. Он уже доказал свое благородство в истории с нашей милой пери.

На последние слова было сделано ударение довольно сильное, так что некоторые улыбнулись, взглянув на молодого человека с угрями, который, запев себе под нос, замолчал.

В третьем часу господин с важной осанкой, надев шляпу и натянув перчатки на свои руки, унизанные кольцами, обошел дозором все зеркала и у каждого нашел что-нибудь поправить в своем безукоризненном туалете. Собака, попугай и камердинер следили за каждым движением своего хозяина, и когда он вышел из кабинета, попугай пронзительно вскрикнул, как бы обрадовавшись, и стал качаться на кольце; собака вытянулась и улеглась на полу. Вернувшись в кабинет, камердинер с важностию занял у стола место своего барина и стал допивать холодный кофе.

Господин с важной осанкой был из числа любителей театра, хотя, кроме советов, он уже ничем не мог помогать содержателю его, потому что имение его было в долгу и он сам едва мог поддерживать свои разорительные привычки. Но он имел голос между любителями театра, вследствие чего актеры и актрисы дорожили его покровительством.

Калинский – так звали господина с важной осанкой – некогда был богат, когда-то хорош собой; но всё это было в прошедшем. Один Калинский еще воображал себя молодым человеком, красивым и богатым, хотя воображать последнее было довольно трудно, потому что кредиторы часто напоминали ему противное. Но всё-таки с помощью ловкого камердинера Калинский обделывал свои дела и жил роскошно, судя по наружности.

Калинский молодость свою провел не столько с пользою, сколько с удовольствием; он ухаживал тогда за актрисами, ставил на карту большие куши, услаждался дорогими винами и решительно не заметил, как прошла не только его молодость, но даже как с годами прибавилось долгов на его большом, но уже заложенном имении. Продав часть своего имения, он не мог оставаться жить в столице, где страдало его самолюбие, где начинали уже говорить о красоте и победах других молодых людей, хвалили ценный подарок, сделанный актрисе не им, а каким-нибудь купцом. В провинции Калинский ожил вновь, сделался предметом разговора всех, и где недоставало ему денег, он употреблял хитрости, интриги, так что в ту минуту, когда мы познакомили его с нашими читателями, Калинский смело шел, не останавливаясь, к достижению своей прихоти или удовлетворению своего самолюбия и не задумывался ни перед какими средствами, лишь бы иметь успех. Любская имела в лице Калинского самого злейшего врага; он был главною пружиною неприятностей между Любской и Ноготковой; равно и в публике он устраивал всегда так, что если Любская играла вместе с Ноготковой, то последнюю непременно лишний раз вызывали, а Любской даже шикали, хотя шиканьем он только сердил публику, которая с досады принималась рукоплескать Любской. Он также научил содержателя театра, раболепствовавшего перед всеми любителями театра, потому что они делали ему большие вспомоществования, не давать пьес, в которых Любская имела успех. Ноготковой шили для новых ролей новые костюмы, а Любской перешивали старые. Трудно передать все мелочи, которые самого агнца в состоянии рассердить, а не только женщину раздражительную и самолюбивую...

Через неделю после визита своего к Калинскому прачка решила идти просить Любскую о ходатайстве: так как Калинский много расспрашивал Катю о Любской, то прачка надеялась, что он для Любской похлопочет о Кате.

– Здравствуйте, Олена Петровна! – низко кланяясь, сказала прачка, войдя в одиннадцать часов утра в кухню к Любской.

– Ну, здравствуй! – отвечала небрежно женщина лет тридцати, с лицом, бровями, ресницами, губами, глазами и волосами пепельного цвета. Роста она была очень высокого и неимоверно сухощавого сложения, грудь впалая, пуки длинные, плечи сутуловатые, которыми она поминутно передергивала. К довершению прелестей, одна щека у ней припухла, что придавало ее лицу какое-то постоянно гордое, саркастическое выражение.

Она была горничная Любской и в эту минуту распивала кофе.

– Олена Петровна, матушка, будь моей Кате второй матерью.

– Ну, что нужно? – грубо перебила горничная прачку.

– Замолви словечко: скажи, что, мол, сударыня, пришла прачка.

– Что учишь-то! разве не умею говорить, что ли? Чего ты хочешь?

– Попросить вашу барыню, чтоб она замолвила словечко об Кате.

И прачка умильно глядела на горничную, которая презрительно отвечала:

– А! небось теперь: «Олена Петровна, мать вторая!» – а то, не спросясь никого, полетела... туда же – хочет, чтоб дочка актрисой была!

– Матушка Олена Петровна, посуди сама: ну что я, бедная, ну куда я ее пристрою?

– А отчего она не может быть прачкой аль горничной? чем мы хуже ее? Не в свои сани садишься!

Прачка тяжело вздохнула и с покорностью отвечала:

– Олена Петровна, ведь я ей мать. Ну как не пожелать своему детищу счастья?

– Великое счастье – кривляться! – с презрением воскликнула горничная и вслед за тем грубо прибавила постучавшемуся в дверь: – Ну, кого еще несет?

Дверь раскрылась: показалось лоснящееся лицо небольшого мужчины средних лет, опрятно одетого.

– Ах, Семен Семеныч! – передернув плечами, закатив под лоб свои пепельного цвета глаза и заморгав быстро ресницами такого же цвета, нежно воскликнула горничная.

Семен Семеныч был камердинер Калинского. Он с утонченной учтивостью расшаркался с горничной и с прачкой, у которой осведомился о здоровье мужа, на что получил ответ:

– А что ему, батюшка, делается! лежит себе да возится с негодными котами.

– Ваша барыня спит? – спросил, улыбаясь, Семен Семеныч.

– Хороша барыня! – насмешливо отвечала горничная и с любопытством спросила: –

А вам на что, Семен Семеныч?

– Вот-с!

И Семен Семеныч показал письмо, лукаво улыбаясь.

– Ну уж... право... вы ведь знаете, как она мне грозила, если я буду с вами знакома.

– Ничего-с! тут вот-с насчет ихней Катеньки сказано-с!

– Ах, боже ты мой, родной, ну как его милость... – завопила прачка.

– Ну что горланишь! – сказала горничная и, закатив глаза, обратилась к Семену Семенычу: – Вы уверены, что из этого письма ничего не выйдет?

– Не извольте сумлеваться: я лукавствовать с вами не стал бы, – отвечал Семен Семеныч и подал горничной небольшой из серой бумаги мешок, сказав нежно: – Не угодно ли полакомиться, Елена Петровна?

– Ах-с, я и так бы... зачем? – жеманясь, проговорила горничная.

Семен Семеныч, вскрыв его, поднес горничной, лукаво глядя на нее, и сказал:

– Отведайте: по вкусу ли?

– Что это, ах... как это можно... какой вы, право! – радостно восклицала горничная, схватив мешок. И, вынув из изюма кольцо с бирюзой, она надела на свой костлявый длинный палец.

– Золото-с, с настоящей бирюзой-с! – проговорил Семен Семеныч.

Дверь в сени с шумом раскрылась: ввалился чрезвычайно высокий мужчина в фризовой шинели и басом прокричал:

– Завтра репетиция «Дочери-преступницы», в одиннадцать ровно!

– Ну что вопишь, словно режут!

– Да ведь надо же, так требуется, Олена-матушка.

– Ну, мужлан!

– Дай водочки!

– Как же! здесь не кабак.

– Ишь, злая!

И подразнив горничную, высокая фигура с шумом скрылась. Затем явился краснощекий молодой человек с приятной улыбкой, одетый очень чисто, с узлом под мышкой. Вежливо раскланявшись с горничной и со всеми в кухне, он скоро пробормотал:

– Насчет-с герцовских платьев!

– Спят, – отвечала горничная.

– Я подожду-с: нужно примерить-с.

– Поздно легла.

– Так позвольте оставить; я зайду через час.

– Хорошо.

Не прошло минуты, как ввалился кучер и медленно произнес:

– Карета приехала, сидят.

– Какая карета! не знаешь, что ли, что наша по утрам не ездит теперь в ваших корзинках? Да покажи записку! – крикнула горничная.

Кучер подал лоскуток бумаги, на котором было написано с десятков фамилий актеров и актрис, которых следовало ему забрать и привезти в театр на пробу.

– Потрудитесь, Семен Семеныч, – передергивая плечами, сказала горничная, подавая камердинеру бумажку.

Семен Семеныч прочел и объявил, что даже фамилия Любской не написана.

– Да я ведь почему знаю? Дали записку сегодня: поезжай! я был вчера здесь, ну и думал, что и сегодня надо.

– То-то вы, простота! а кабы я разбудила!

Раздался колокольчик из комнат, и горничная, распростившись с гостем и взяв от него письмо, пошла на зов. Прачка затянула свою песню: «Устрой мою Катю: я за тебя век буду бога молить» и так далее.

Глава XVII

Заклисная сплетня. – Прачка устроивает судьбу своей дочери

Письмо Калининского было содержания очень обыкновенного между провинциальными актрисами. Под видом преданности к Любской он извещал ее, что один господин, прикидывающийся преданным ей, в день именин поднес Ноготковой «браслет», да еще с надписью, хотя взятой с известного памятника, но всё-таки оскорбительной для нее, если она считает его в числе своих друзей. Надпись следующая:

Завистниц имела,
Соперниц не знала.

Любская в волнении едва могла дочитать письмо. В ее голове быстро пронеслись слова и взгляды актрис за кулисами, которых она не брала на себя труда объяснить. А поспешность, с которою Дашкевич оставил ее вчера утром, не дав положительного ответа, куда он так торопится, подтверждала слова Калининского. В глазах потемнело у Любской, и она, как статуя, оставалась в неподвижности. Ничего не может быть ужаснее в жизни женщины, как узнать о торжестве своей соперницы, сознать его, и, к довершению всех мучений, перед множеством людей, которые, как докучливые комары в летний жаркий день, кусают вас со всех сторон своими ядовитыми насмешками, и нет средств укрыться от них: они найдут место пропустить свое жало.

Недоумение Любской недолго продолжалось. Она поспешно оделась и явилась на репетицию. Это присутствие духа и смелость явиться в такую минуту за кулисы доказывали, каким характером обладала Любская. Она знала обычай Ноготковой на другой день именин являться на репетицию, даже если она не участвовала в ней, во всем, что было подарено ей, а в случае и куплено самою, но выдано за подарки. И не ошиблась: она застала Ноготкову разряженную как куклу; толпа актрис и актеров разглядывала ее наряд и хором хвалила всё. Несмотря на быстрый переход от утреннего света к темноте сцены, Любская тотчас же заметила массивный браслет на руке своей соперницы, которая с убийственной улыбкою поправила его.

Как ни считала себя Любская выше мира, в котором находилась, однако колени у ней задрожали, когда она увидела браслет, переходящий из рук в руки актеров и актрис. Последние восклицали:

– Да, счастливая!.. Да, весело!.. Да, девицы!..

– Не правда ли, хорошенькая вещица? – спросил ее актер с бесчисленными бородавками на лице.

Любская выхватила у него браслет и готова была бросить его в темный оркестр; но восклицания присутствующих образумили ее; дрожа всем телом и сию минуту улыбаясь, она осталась с поднятой рукой, как бы любясь браслетом издали, и потом молча вручила его актеру с бесчисленными бородавками, который спросил:

– Ну что, хорош?

Любская молча кивнула ему головой.

– Надпись есть.

И актер с бесчисленными бородавками громко и торжественно прочел:

Завистниц имела,

Соперниц не знала.

А. Д.

Любская почувствовала в эту минуту прикосновение чьей-то руки: то был Остроухов, приближения которого она не заметила. Остроухов тихо шепнул ей:

– Иди отсюда: ты не вынесешь этой пытки.

Любская кинулась в темную кулису и, прислонясь к ней, тихо зарыдала.

– Тише, ради бога, тише: ты им подашь еще более поводу тешиться над собою.

Любская пугливо огляделась и дрожащим от гнева голосом спросила:

– Все знают?

– К несчастью, ты узнала последняя.

– Как?! – с ужасом и негодованием воскликнула Любская. – Неужели всё было ложь?

– Как видишь, – грустно отвечал Остроухов.

– Вы знали прежде?

– Да.

– Зачем же мне ничего не говорили?

– Ты так гордо держишь себя с нами, то есть с Федей.

– Он здесь? Боже, где он? – пугливо воскликнула Любская.

– Его здесь нет: он что-то болен.

Любская свободно вздохнула.

Парусинные кулисы, где говорила Любская с Остроуховым, заколыхались слегка. Остроухов приложил палец к губам, переменял разговор и тихо шепнул Любской:

– Смейся!

Любская засмеялась.

– Громче! – шепнул Остроухов и стал болтать равный вздор.

Смех Любской привлек многих актрис и актеров к кулисе. Любская с Остроуховым смеялись на всю сцену, так что режиссер закричал:

– Говорю вам: штраф! тише! тише!

Уходя с пробы, Остроухов пожал Любской руку и с гордостью сказал:

– Если ты будешь так продолжать, вспомни меня – ты сделаешься замечательной актрисой.

Эта похвала вызвала слезы, которые изобильно текли по щекам Любской; выражение ее лица и всей фигуры было так убито, что Остроухов, сажая ее в карету, строго сказал:

– Неужели ты не имеешь гордости и приходишь в отчаяние от таких вещей, на которые должно отвечать смехом, как ты и сделала. Знаешь ли, что веселость твоя лучшее и самое верное мщение?.. Будь весела, поезжай куда-нибудь, где бы тебя могли видеть веселой, – одним словом, сделайся актрисой сегодня не за кулисами, не на сцене, освещенной лампами, а при дневном свете.

– Мне скучно! мне тяжело! – проговорила Любская, закрывая лицо руками.

– Вздор! ты должна быть сегодня веселой!

И, захлопнув дверцы, Остроухов велел кучеру ехать в модный магазин на главной улице города, сказав Любской:

– Ради бога, купи к завтраму себе какую-нибудь обновку. Проба в двенадцать часов.

Любская, поплавав в карете, скоро перестала, как бы вспомнив советы Остроухова. Она купила себе новую шляпку и возвратилась домой.

Но на лестнице она была испугана прачкой, которая, упав ей в ноги, загородила дорогу и завывала.

– Что такое? что? – пугливо спросила Любская.

– Сделайте милость, матушка! заставьте богу...

– Да скажи, что тебе? – нетерпеливо воскликнула Любская.

– Съезди ты, мать родная, благотельница, к его милости!

– К кому?

– К Лиодору Алексеичу Калининскому; его милость намерен пообещать определить мою Катю, а сегодня понесла ему белье: я, говорит, не могу; госпожа Ноготкова сама изволила заезжать ко мне и просить о своей какой-то родственнице. Ведь она человек богатый; а я, я-то где возьму деньги учить мою Катю?

И прачка завывала.

Слезы действовали неприятно на Любскую; она с жаром просила прачку перестать.

– Сами знаете, девочка умная: за что пропадет! А где мне взять? шутка ли – сколько корзин должна переглядывать, перестирать! ну где мне и прожить-то долго...

Прачка готовилась еще пуще завывать.

– Не плачь, пожалуйста: я сейчас же поеду сама к нему, – сказала Любская и стала защищаться от прачки, которая, вознося ее доброту, ловила у ней руку, чтобы поцеловать...

Калинский тотчас же был уведомлен о предстоящем ему визите чрез своего камердинера, который находился у Куприяныча в гостях, когда прачка вбежала домой с сияющим лицом.

В ожидании Любской Калинин изыскивал себе эффектную позу. Сначала сел в кресле с книгой и приказывал собаке положить голову ему на колено. Наконец предпочел сесть у письменного стола, разбросав по нем бумаги и книги, и углубился в занятия, как только услышал звонок в передней.

Камердинер, с шумом раскрыв дверь, возвестил прибытие Любской. Калинин с минуту оставался как бы пораженным, потом радостно кинулся к ней и, усаживая ее на диван, воскликнул:

– Боже! чему я обязан счастьем видеть вас у себя?

– Я думаю, очень обыкновенному случаю для вас: я, как и другие, приехала к вам с просьбой, – отвечала Любская.

– Приказывайте! – наклонив почтительно голову отвечал Калинин.

– Я прошу вас определить очень хорошенькую девочку.

Калинский задумался.

– Я вас умоляю, – не без кокетства произнесла Любская: она жаждала случая хоть чем-нибудь отомстить своей сопернице.

– О! для вас я готов изменить своему слову! – восторженно воскликнул Калинин.

– Поверьте, что совесть ваша будет вознаграждена: вы сделаете истинно доброе дело.

– Я забуду всё, чтоб угодить вам. Это цель моей жизни...

Калинский остановился, заметив легкое содрогание Любской, которая гордо взглянула на него; с минуту они пытливо глядели друг на друга.

– Вы сердитесь на меня? – спросил Калинин.

– Кто? я? за что? вы опять заговорили по-старому? – покойно отвечала Любская.

– Нет!

– За письмо?..

Любская засмеялась.

– Как вы веселы! – с удивлением заметил Калинин.

– Отчего же мне скучать?.. Я окружена людьми, которые заботятся обо мне, исполняют мои...

– О, я вижу, вы по-прежнему меня не понимаете и всё толкуете в дурную сторону...

– Мое мнение изменится, если вы исполните мою просьбу.

– Для этого я готов принести всё в жертву!

Любская встала.

- Вы бежите, – с грустью заметил Калинин.
- Вы, кажется, были заняты: я боюсь...
- Как вы злы! неужели вы не знаете, что вас видеть для меня...
- А много говорит ваш попугай? – перебила его Любская.
- Он забавен, а главное – ужасно привязан ко мне; впрочем, я любим всеми, кроме...
- Вы, как Робинзон, окружены зверьми, – сказала Любская, указывая на собаку.
- Да, это верное животное и очень привязанное ко мне.
- Зачем же она на веревке? – спросила Любская.

Калинский смешался, но тотчас же отвечал с приятной улыбкой:

- Она ревнива ко мне.

Любская улыбнулась, попросила, чтоб отвязали собаку, и сказала:

- Я вас уверяю, она ничего не сделает, по крайней мере мне.

Не скоро удалось Калинскому освободить свою собаку: она не давалась ему, и когда наконец ошейник был снят, кинулась под диван и заворчала.

Любская кусала губы от смеху, потому что Калинин весь побагровел, нежными словами выманивая собаку, которая рычала всё сильнее; попугай присоединился к ней своим криком.

– Они сегодня меня бесят! впрочем, это понятно: они никогда не видали у меня в кабинете дамы.

– И потому их ревность не имеет границ, – перебила Любская и, еще раз повторив просьбу свою, раскланялась и вышла.

Экипаж ее не успел еще отъехать от крыльца, как по всей квартире Калинского раздался вой собаки и крики попугая.

Калинский сердито кричал своему камердинеру, тащившему собаку за шиворот из-под дивана:

– Скажи собачнику, что гроша не дам, если не приучит ее лежать на подушке без привязи и не отвадит лаять под диван.

И он принялся наказывать вызолоченной палочкой своего попугая.

По возвращении домой душевное напряжение Любской разрешилось отчаянием, которое не было тихо и безвыходно: нет! рыдания ее были гневны; краска на лице, взгляды и движения доказывали, что для ее горя есть еще облегчение; известно, что ничего нет страшнее тихой скорби.

Любская написала к Дашкевичу письмо и приказала отдать, когда он приедет, а сама заперлась в спальне.

В то самое время, когда для Любской всё окружающее казалось печальным и мрачным, прачка находилась наверху блаженства: Семен Семеныч явился к ней с извещением, чтоб она везла Катю в ученье. Прачка бросила недоглаженную юбку, ахала, смеялась, кидалась во все углы, собирая узелок для своей дочери, и поминутно восклицала:

- Господи! господи! чем я ей заслужу?

Или:

- Вот и моя Катя будет в карете ездить и шелковые платья носить!!
- Я приду домой завтра? – приставала Катя к матери с вопросами.
- Глупенькая, скорее надень чистые чулки да пойдем проститься к верхней барыне.
- Я надена и новый платочек?
- Да, да! Куприяныч! попотчуй водочкой-то Семена Семеныча!

И прачка сунула в руку камердинеру красную бумажку.

Он с любезностью поклонился.

- Ну, прощайте, – сказала прачка.

- С богом-с, – отвечал Семен Семеныч.

Прачка уже взялась за ручку двери, как остановилась и воскликнула:

– Что это, я, кажись, от радости рехнулась! Катя, прости с отцом да помолись богу!

И прачка усердно стала молиться. Катя последовала примеру матери.

– Ну, прощайся! – сказала прачка, толкнув Катю к Куприянычу.

Катя нехотя подошла к нему и тихо сказала:

– Прощайте!

– С богом, прощай! – отвечал равнодушно Куприяныч и в первый раз поцеловал Катю в лоб.

– Перекрести! – заметила прачка своему мужу.

Он перекрестил.

Прачка сняла с шеи маленький серебряный образок и, благословив дочь, схватила ее за голову, прильнула к ней губами и заплакала. Катя, не понимая, впрочем, о чем плачет мать, тоже заплакала, и рыдания наполнили подвал.

– Полноте-с, о чем тут плакать, сами изволили желать! – заметил Семен Семеныч.

Куприяныч ничего не говорил. Он пожимал только плечами и насмешливо глядел на свою жену.

Прачка ничего не слушала; она дрожащими руками крестила свою дочь, целовала ее голову, даже руки и длинные косы, и, прижав девочку к своей высохшей груди, твердила:

– Катя, не забудь свою мать, не забудь ее!

Семен Семеныч, видя, что слезам прачки не будет конца, сказал:

– Что это-с вы ребенка-то пугаете: ведь они заробеют!

– Ах, батюшка, будет ли она счастлива! – воскликнула прачка и рыданием заглушила свои слова.

– Ну ведь у ней опухнут и покраснеют глаза; скажут еще, что болезнь какая, – нетерпеливо отвечал Семен Семеныч на вопрос прачки о судьбе дочери.

Прачка прекратила свои рыдания, перекрестив и поцеловав в последний раз дочь, вытерла ей слезы, пугливо поглядела ей в лицо и нетвердым голосом сказала:

– Ну, пойдем!

И прачка печально вывела за руку свою дочь из подвала.

В кухне Любской был большой беспорядок. На плите кипел бульон; недоглаженное платье было забыто горничной, которая, важно облокотясь на доску, кричала страшно. Перед ней стояла маленькая женщина в шелковом салопе и в шляпке с помятыми цветами. То была горничная Ноготковой. Денщик с нафабранными усами, с гордой осанкой, стоял в шинели, навьюченный чубуками, фуражкой, саблей и сюртуком.

Сидоровна, вся в лохмотьях, с веревкой в руке, жалась в углу у дров, только что ею принесенных.

Разговор был горячий между горничными и денщиком. Они не скоро заметили приход прачки, ее дочери и Семеныча. Елена Петровна встретила последнего радостным восклицанием; но камердинер не заметил ее и прямо адресовался с вопросом к денщику:

– Переезжаете?

– Да, мы любим по-походному: сегодня здесь, а завтра там.

И он указал на горничную Ноготковой, которая отвечала:

– Да я не то что Олена Петровна: я воли вам не дам-с.

– Ну так мы приступом возьмем.

Смех раздался в кухне.

– Прощайте, Олена Петровна, – начала прачка, толкая Катю, которая протянула губы к горничной.

– Это куда разрядилась? – спросила горничная Любской.

– Учиться, – с гордостью отвечала Катя.

– А глаза что красны: мать, что ли, была?

– Ах, Олена Петровна! когда же я ее была? – обидчиво заметила прачка.

– Мы пришли проститься с вашей барыней.

– Некогда – плачет! – отрывисто отвечала горничная и подмигнула денщику, который самодовольно закрутил усы.

Семен Семеныч лукаво улыбнулся и шепнул горничной Ноготковой:

– Чай, и ваша скоро заплачет?

– Наша не из таких: она плакать не станет, а глаза выцарапает.

И она обратилась к Олене Петровне и озабоченно продолжала:

– Так розовое наденут? Ну и наша розовое, только с иголки. Прощай, Оля! Заходи кофейку испить.

Горничные дружно поцеловались и расстались.

– Важнеющая особа! – заметил денщик, провожая глазами горничную Ноготковой.

– Да, только язык-то длинен! – с сердцем заметила Олена Петровна.

Прачка обратилась к ней с вопросом:

– Нельзя ли доложить?

– Отвяжись ты от меня! – грубо закричала Олена Петровна. И, закатив глаза под лоб, она обратилась к денщику и нежно сказала: – Прошу лихом не вспоминать нас. Заверните когда-нибудь вечером.

Денщик гордо раскланялся и ушел.

Сидоровна и ему отвесила всегдашний раболепный поклон, на который обыкновенно никто из приходящих и уходящих не отвечал ей.

Через полчаса Катя сидела на скамейке в спальне у Любской, которая переплетала густые косы будущей актрисы.

В кухне Сидоровна раскладывала на столе карты на будущую участь Кати. Прачка, пригорюнясь, то радостно улыбалась, то тяжело вздыхала, наблюдая предсказание засаленных карт Сидоровны, которая вечно носила их за пазухой.

Куприяныч один был равнодушен к будущности Кати. Он бегал со щипцами по комнате, бросался на пол, ловя желто-серого кота, который в зубах держал мышонка. Наконец Куприянычу удалось поймать за хвост серого кота и выхватить из его зубов жертву. Он кинул мышонка к черному коту и напряженно следил за движениями своего любимца, который, царапнув лапкой мышонка и понюхав его, медленно отошел.

В то время воротилась прачка с грустным лицом; Катю же повезла сама Любская. Куприяныч начал доказывать жене, как полезно и необходимо иметь кошек в доме, и, показывая мышонка, лежавшего, поджавши лапки, сказал:

– Небось всё перегрыз бы, ведь мог попортить дорогую рубашку аль платье какое. А вот мой *чернушка* его цап-царап.

Прачка так была, огорчена разлукой с дочерью, что только махнула рукой. Муж стал приводить в порядок свою постель, готовясь улечься.

Завидя смятое платье Кати, прачка снова заплакала, но скоро с сердцем вытерла слезы своей сухой рукой и занялась глаженьем.

Часть четвертая

Глава XVIII Жизнь кочующего актера

Общая квартира Мечиславского и Остроухова состояла из двух комнат. Первая темная комната была обращена в сени и прихожую, а светлая – в спальню, кабинет и приемную.

Светлая комната была замечательна простенками необыкновенной ширины, как будто располагались строить замок, а не двухэтажный дом. Окна широкие, но низенькие, бросали зеленоватый свет на все предметы, – может быть, потому, что вместо штор и ширм их украшали огромные зеленые бутылки с желудочной водкой, славившейся своей целебностью; автор ее был сам Остроухов.

В громадном простенке стоял большой стол с откидными полами; на нем красовался зеленоватый маленький самовар с чайником на макушке. На круглом ржавом подносе, с маленькой решеточкой кругом, стояли два стакана; один в бисерном чехле.

Напротив стола, у стены, находился массивный турецкий диван, обтянутый тиком, во многих местах разодранным, откуда виднелась другая материя, а местами и третья, так что диван напоминал возвышения, образующиеся наносами, по которым можно вычислить столетия. За диваном, в углу у печки, стоял маленький простого дерева комод с рассохшимися ящиками и тут же маленький туалетный ящик с зеркалом.

По другой стене тянулась длинная кровать с коротенькой периной и небольшими кожаными подушками, напоминавшая детей, выросших из своего платья. Под кроватью валялись сандалии дружно с туфлями, вышитыми шерстью. Возле кровати – ломберный раскинутый стол, на нем запыленные роли, парики, бритвы, – всё пересыпано нюхательным табаком и пылью.

Остроухов даже не имел и зеркала, а какой-то кривой кусочек, обделанный в пеструю бумажку.

Противоположная стена от двери до окна была завешана разного рода платьями: тут висел французский кафтан с блестками, греческая рубашка, испанский плащ рядом с засаленным халатом, шубой и другими платьями.

Когда Остроухов возвратился с пробы, посадив Любскую в карету, он застал Мечиславского, лежащего на диване с ролью в руке. По нахмуренным бровям и взглядам исподлобья можно было догадаться, что Остроухов чем-то недоволен. Его умное лицо, разрисованное морщинами, имело обычное выражение утомления и грусти. То и другое в настоящую минуту выражалось еще резче. Но Мечиславский не обратил внимания на своего друга: он слишком был погружен... только не в чтение роли. Бледное лицо его по временам вспыхивало; глаза то блистали гневом, то увлажнились слезами.

Выпив обыкновенную порцию желудочной, Остроухов бросился на свою кровать и, заложив руки за голову, начал поглядывать на Мечиславского. Наконец он окликнул его после долгого молчания:

– Федя, а Федя!

Мечиславский так вздрогнул, что роль выпала у него из рук.

– Ну что, брат, чего испугался? кажется, осторожно окликнул! – недовольным голосом заметил Остроухов.

Мечиславский немного смешался и неохотно спросил:

– Да что тебе нужно?

– Затвердил ли ты роль? ведь завтра играть ее, – с упреком отвечал Остроухов. Мечиславский пугливо посмотрел на своего товарища и покачал головой.

– Нехорошо, братец! что плохо, так плохо! На меня нечего смотреть, что я своей роли не знаю; память стала слаба, – коли и запнусь, гримасой поправлю, да со старика и публика не взыщет: она ко мне привыкла... Ну а ты? твое дело другое! ну, как запнешься в сцене, где слова должны кипеть? Придется смотреть на свою возлюбленную и в то же время ухо подставлять к суфлеру – не годится! Да и ее можешь сбить.

Мечиславский, как пристыженный школьник, громко стал читать свою роль.

– Ведь, право, ты какой! например, завтра в одной сцене надо драться, а ты небось хоть бы чубуком попробовал!

– Да отвяжись! завтра на репетиции могу научиться.

– Ну, так! на последней-то? оно так! с тобой и станут возиться! Ну-ка, валяй!

И Остроухов быстро вскочил с кровати, сбросил сюртук и, засучив рукава рубахи, вооружился рапирой, стоявшей в углу у печки с чубуками и кочергой. Нападая на Мечиславского, он закричал:

– Защищайся, злодей!

Мечиславский оттолкнул рукой рапиру от своей груди и с досадою оказал:

– Да полно!

Остроухов пожал плечами и, став посреди комнаты, принялся фехтовать один. Морщины на лице его разгладились, утомленные глаза вспыхнули огнем, словно в пылу действительной драки; через минуту он вдруг остановился, весь вздрогнув, лицо его побледнело, глаза с ужасом устремились к полу, будто в самом деле перед ним лежал убитый им человек; отбросив рапиру, он тихо опустился на колени и, щупая с содроганием пол, отчаянным голосом произнес:

– Он мертв!

Мечиславский с жадностью следил за Остроуховым, который с одушевлением разыграл всю сцену из роли своего друга.

Окончив сцену, Остроухов отер рукавом рубашки пот с лица и хриплым голосом сказал:

– Устарел: голосу не хватает выдержать всю сцену! Разве подкрепиться?

И он подкрепился.

Мечиславский стал читать свою роль с жестами, выходами и уходами. Остроухов, лежа на своей кровати, закинув руки за голову, делал Мечиславскому замечания, заставлял его повторять раза по два некоторые монологи и наконец довел своего друга до изнеможения. Мечиславский бросил на половине свою роль.

– Ну что, осовел? ведь я игрывал эту роль, как был молод. Правда, тому давно-давно! когда я был молод.

Остроухов тяжело вздохнул.

– Право, Федя, я как погляжу на молодых людей, так нынче... право, жаль: ну точно мокрые курицы ходят. Например я скажу про себя: как был молод – веришь ли? – так всё и кипело... И чего я не видал на свете!

– И что же вышло из этого? – спросил насмешливо Мечиславский.

Остроухов на минуту задумался и вдруг, вскочив с кровати и комически раскланиваясь, произнес с приятной и скромной улыбкой:

– Ваш покорнейший слуга.

Мечиславский отвечал улыбкой на выходку своего товарища, который, кряхтя, улегся опять на свое место и, рассуждая сам с собой, продолжал:

– Ну, пусть я имею слабость; но ведь я всё-таки имею, как и другие люди, сердце, совесть, честь! Не верят, думают, уж я совсем пропал.

– Мало ли что о нас другие думают! – заметил Мечиславский.

– Оно резонно, да обидно, когда через какую-нибудь свою слабость, которая, кроме меня (Остроухов с жаром ударил себя в грудь и продолжал), никому вреда не приносит... а тут всякий смотрит на тебя с презрением.

– Ты что-то сегодня в дурном расположении, – сказал Мечиславский.

– И не думал, а так, к слову пришлось. Ты меня знаешь: я ведь не охотник хныкать да людей винить, в чем сам виноват.

– А если они виноваты, так что тогда?

– А зачем сам так слаб, что позволяешь себя обижать, а? Ну, про себя я не говорю: я стар; а ты?

– Ну а ты?

– Я другое дело: ты вот был богат.

– Да сплыл!

– А я так и не сплывал; и где взять мне было амбиции на всё, что я пережил, чему подвергался? Небось ты вот актер, а что видел, где был? А я-то, братец, разве только у самоедов не увеселял. Вот оно какая штука! Ты думаешь, чай, я вот так и сделался актером? Как же! Я в оркестре в барабан колотил, потом выучился на флейте, потом сделался суфлером. Да и дебют-то мой был курьезный. Я выступил на сцену в первый раз в медвежьей шкуре. И наконец-то сделался актером. Уф! страшно вспомнить!.. Выходя в чужой шкуре, мне казалось всё нипочем, а как пришлось в своей, так ноги не держат, в горле так странно! словно бутылку масла выпил. К тому ж замешалась любвишка: и за нее, бывало, боишься, и за себя, – ну, право, чуть не умер. И как чудно я сделался актером! оно, право, подивисься случаю. Сначала я и не думал, что у меня есть талант, хоть часто, когда сидишь, бывало, в суфлерской будке и подсказываешь роль, так вот и казалось, что сам бы лучше сыграл. Ну, вот раз приехала наша труппа в один город, наняла сараи и стала их превращать в театр. Всё было уже готово; вот я раз вышел с пробы, – у самых сеней меня останавливает женщина чисто одетая и в шляпке, но мне совершенно незнакомая и очень красивая. «Не надо ли вам актрисы?» – спросила она меня, ну в точь как мужики, бывало, спрашивали, когда устроивали сарай: «Не надо ль плотника?» Я, признаюсь, улыбнулся такому странному вопросу моей незнакомки; она гордо сказала:

– Я дам денег тому, кто похлопочет, чтоб меня приняли актрисой.

Я поглядел на нее еще пристальнее и окончательно убедился, что она очень хороша собой. Я было спросил ее, кто она, что она, да получил ответ:

– А на что вам? ведь оттого я не сделаюсь лучше? Скажите мне, хотите ли вы учить меня и выпустить на сцену? Если так, то я с завтрашнего же дня начну.

– Извольте, я дам вам роль, и когда выучите, приходите сюда и спросите меня; я пройду с вами.

– Да я читать не умею! – печально отвечала незнакомка.

– Как же вы хотите быть актрисой? – с упреком воскликнул я.

– Очень просто: у меня память очень хорошая; почитайте мне роль, а там я понемногу стану учиться читать.

Мне всё это показалось так странным, что я из любопытства одного согласился, не думая, что от этого вся моя будущность зависит. Незнакомка правду сказала: бывало, два раза прочтем роль, она уж запомнит. Таланту было бездна. В разговоре ничего не понимает, а начнет читать роль свою, ну просто не слушаешься. Подымет ли руку, повернет ли голову – просто статуя. Я учил ее тихонько от всех и сам учился и, когда всё было готово, предложил содержателю театра дать некоторые сцены из «Отелло». Содержатель театра был грубый человек, но – спасибо – уступчивый и сговорчивый. Ему сначала не понравилось, что я хочу оставить суфлерство: я отлично умел подсказывать актерам, которые, бывало, едва на ногах

стоят. Но я кое-как всё уладил, насулил содержателю, что заслужу ему. «Ну, говорит, – так и быть, пошел на сцену. А ошибают тебя да твою ученицу, так я тебе задам». Однако дело обошлось как нельзя лучше: хоть мы дурно играли, но намазанная моя рожа, глаза страшные да красота моей ученицы всё выкупили, и уж нас вызывали, вызывали! У меня роли Десдемоны и Отелло так перепутались в голове, что я едва мог находиться, что мне говорить. Наши дебюты произвели шум в городе, и театр ломился от зрителей. Содержатель театра бегал как потерянный от радости и поминутно вешался мне на шею, говоря, что я его первый друг. Я переменял совершенно обращение с ним, да и со всеми; оно, знаешь, как увидишь, что нужен человеку, от которого зависишь, так спокойнее станешь; да и голова-то как-то задерживается сама кверху.

– Ну, она выучилась читать, была хорошая актриса? – спросил Мечиславский.

– Такая вышла актриса, что и я-то через нее понял многое. Раз играли мы вместе, и она так побледнела и так у ней глаза засверкали, что я задрожал как лист перед ней, а ведь знал, что только по роли.

Мечиславский перебил его опять вопросом:

– Она добрая была до тебя?

– Известно как: пока не стала ездить в карете; впрочем, не жди хорошего от женщины, если в ней сильны гнев да ненависть: тут...

И Остроухов махнул рукой.

На лице Мечиславского, казалось, блеснуло удовольствие. Он спросил:

– Так она тебя не любила?

– Да еще неизвестно, могла ли она кого любить. Я такой своенравной женщины не видывал; много она испортила у меня крови, побился я с год с ней, а потом и бросил всё.

– Что же, она жаловалась на тебя, как ты ее бросил?

– Экой ты простофиля! – с сердцем сказал Остроухов. – Я бросил всё: это значит, я образумился и не поскакал за нею, когда она отправилась на другой театр. Да я-то сам глуп был; а всё молодость! эх, сгубил я себя ни за грош! – печально воскликнул Остроухов и повернулся навзничь, что было в нем признаком дурного состояния духа.

Мечиславский окликнул его; Остроухов быстро перевернулся, вытянувшись в доску, потом опять лег навзничь с такою же ловкостью и повторил эту штуку до трех раз.

Мечиславский с упреком сказал ему:

– Ну что ты кривляешься, как мальчишка!

– Не кривляюсь, братец, а припоминаю то, что мне доставляло громкие рукоплескания.

– И охота была брать такие роли?

– Чудак ты! Оно известно: теперь я обегу такую роль. А на ярмарках, знаешь, как сбор лучше, так и нам лучше, – тут лишь бы шла публика, готов невесть что сыграть. О костюмах нечего и говорить: нужен французский кафтан, наряжают в испанский плащ. Раз я какого-то английского герцога отхватал в костюме из «Отелло», и ничего: аплодировали, даже никто не рассмеялся. Ну уж декораций и не спрашивай: нужна пещера, ставят избу. Раз я играл очень серьезную роль; после трагического монолога мне надо бежать, я ткнулся в дверь – она не подается, я в другую – она только нарисована. Я стал, не знаю, что делать. Актриса должна по роли говорить: «Боже, он ушел!», а я и не думал уходить, – публика смеется. Я подумал-подумал, да скок в окно. Забили в ладоши, вызвали меня; я повторил выходку – еще стали вызывать; и если бы я хотел тешиться, меня бы раз двадцать вызвали, так что из трагедии кровавой вышла комическая сцена. И содержатель театра придумал, чтоб на другой день в одной маленькой пьесе все действующие лица входили и уходили не через дверь, а через окно... А на вашем театре всё как следует: и провалиться хорошо, и дверей много, зато какие вещи делаются: ведь актеры-то друг друга за полушку продадут. Поди, послушай-ка актеров, как они честят своего брата какому-нибудь богачу, любителю театра; а всё из страха, чтоб он

не вздумал угостить тоже и другого. У нас, напротив, одного позвал, валят все остальные с ним: «Угощай, коли любишь искусство!» Бывало, как выезжать из города, и пойдешь отыскивать, кто заложил платье, – уж знали кутил, – выкупишь, заплатишь. А здесь умирай хоть с голоду, поди попроси побогаче актеров да актрис, ну-ка попробуй... Да и сами-то актрисы не так были далеки от товарищей, и угостят так, без видов всяких. Может быть, потому, что меньше баловства им, да и самих-то было две-три, да и обчелся. Понадобится старуха, так актеры занимали роли. Бывало, одна другой всё отдаст, коли нужна на сцену вещь какая... А здесь каждая норовит унижить остальных своим нарядом и уж ни за что румян не даст другой, не то что вещь какую. А как начнется у них вражда, так просто пропадай! Вот, например, Орлеанская пользуется почетом здесь, а она просто злодейка. Если счесть, что она на своем веку наделала, так не поверишь. Я уж не говорю о домашней жизни: закрывай глаза, что там делается! А вот у ней была смазливая сестра, поступила на театр. В нее был влюблен до безумия один учитель; хорошо! дело было слажено, учителю дала слово девушка, что за него выйдет замуж. Но после нескольких дебютов, в которых она была принята чересчур уж хорошо, что и губит молодых актрис, Орлеанская взбаламутила смазливую девушку, стала ее целовать, звать к себе жить и доказывать, что она не должна выходить замуж за какого-нибудь учителя, что с ее лицом она может и богатой быть и за князя выйти, и тот, говорит, в тебя влюблен и этот... Приходи, говорит, ко мне. Девушка, по незнанию жизни, и отказала учителю. Боже ты мой! он свету невзвидел, чуть у нас руки не целовал, чтоб мы поговорили да урезонили ее. Вот я ее и стал усовещевать: она, знаешь, и подалась. Учитель под собой ног не слышит от радости, стал сочинять ей романс, что она чудное создание, да не успел окончить его, как смазливая девушка снова подняла нос, нарядилась в бархатную кацавейку с золотыми кистями, которыми за версту отгоняла от себя порядочных людей, поигрывая ими. Орлеанская как коршун сторожит ее и кричит на всю сцену, что она скоро породнится с богатым баринном. Учителя не только не пускали в дом, так даже около ходить. Бывало, уведешь его от сраму, а то Орлеанская вышлет своего повара гнать его. Смазливая девушка в коляске с Орлеанской стала разъезжать, ролей учить не хочет, готовясь уж в княгини. Учитель стал заговариваться, и его, бедного, засадили в комнату: он так и зачах; умирая, просил ее приехать проститься, да Орлеанская не пустила... она бы не прочь.

Остроухов не замечал, что его рассказ об учителе производит сильное впечатление на Мечиславского, который наконец тревожно спросил:

– Что же, она вышла замуж?

Остроухов горько улыбнулся.

– Как же, как же, но только не за князя, а за актера.

– Как?

– Да так; известно, сулил ей только, а приехал дядя его да прямо к ней. Вы, говорит, думаете, он богат, да я, говорит, всё ему даю, а вот узнал, что он стал шалить, так и гроша не дам. А племянничек уверил ее, что у него горы золотые. Девушка в слезы, – говорит, меня обманули. А дядя в ответ: зачем верили! И увез своего племянника. Она осталась без коляски, да еще должна была кое-какие долги заплатить. Орлеанская сухая вышла из воды, заперла несчастной двери своего дома да еще за кулисами да в уборной честила ее. В то время здесь один актер собирал труппу для себя, чтоб ехать на ярмарку, нужна была ему красивенькая актриса, он женился и уехал. Однако расчел плохо: она, тово уж, знаешь, покашливала от всех этих историй, да еще в дороге простудилась, и последовала за учителем.

Остроухов прошелся по комнате, как бы припоминая что-то, и, подойдя к окну, предложил рюмку Мечиславскому, сидевшему повесив голову; тот отказался. Остроухов выпил один. Кряхтя и потирая руки, он начал ходить по комнате скорыми шагами, бормоча под нос.

– Если тебе было так хорошо в кочующей труппе, скажи на милость, зачем же ты ее оставил? – вдруг спросил Мечиславский.

Остроухов, остановясь против Мечиславского, горестно покачал головой и еще печальнее произнес:

– Мне всё опротивело, и я метался как потерянный.

– А меня винишь, что я опустил.

– Я... я дело другое. Ты вот, может быть, мухи не обидел, а я... я низкий человек! – с силою воскликнул Остроухов, и глаза его дико засверкали.

– Что ты, полно! – пугливо произнес Мечиславский.

– Так не сравнивай себя со мной!.. Я... я лучше всех знаю, чего заслуживаю. Разве бы я мог дойти до такого состояния...

И он закрыл лицо руками.

– Ну что ты пустяки говоришь! С тех пор как я тебя знаю, небось, что ты дурного сделал?

– Совесть, совесть; надо спросить ее! Я вот уж несколько лет задобриваю ее; но она, она, верно, слишком была возмущена, что покою нет.

– Да что ты такое сделал? – с любопытством спросил Мечиславский.

– Я... ничего ровно для многих людей, но... слушай... Я никому еще не повторял этой истории. Ты, может быть, не так строго меня осудишь... Я хотел жениться, тому лет двенадцать, – она была актриса, хорошенькая, молоденькая, и была не прочь выйти за меня. Мне кажется, она любила меня... да! надо любить, чтоб отказаться от богатства. Но она, как и я, много уже видела горя в жизни, и потому мы были оба раздражительны и необузданны в своем гневе. Между нами были частые вспышки, и надо тебе заметить, что в такие минуты были мы оба страшны: мы чувствовали страшную ненависть друг к другу; как так и она были готовы на всё, чтоб досадить и уязвить другого. Раз обманутый в любви, я был подозрителен и ревнив. В одну из наших ссор недобрые люди воспользовались, чтоб расстроить нашу свадьбу. Они так возбудили мою ревность, что я забыл себя. К тому ж, когда мне передавали сплетни, я выпил много вина и как помешанный кинулся в театр, где она играла, чтоб удостовериться в своих подозрениях. И спрятавшись за кулису, я следил за ней; мне только казалось, может быть, что ее выразительные глаза устремлены всё на одно кресло, где сидел мой богатый соперник, преследовавший ее своею любовью. Но она всё отвергла из любви ко мне. Я, однако ж, не верил ей в эту минуту, и чем более следил за ней, тем более ревность моя разгоралась. И когда занавес стали опускать, мне показалось, что она сделала ему знак. Занавес не успел стукнуться об пол, как я... неистово кинулся к ней... и...

Голос у Остроухова замер; он глухо продолжал:

– Раздался всеобщий крик. Она, как бы не веря сама себе, дико глядела на всех и вдруг с ужасом кинулась от меня бежать. Я не мог сдвинуться с места, я не смел поднять глаз. Меня вывели из этого положения актеры, присутствовавшие тут – одни с одобрением, другие с негодованием. Я кинулся к ней. Вбегая на лестницу, я споткнулся обо что-то: то она лежала без чувств, в костюме, с открытой головой; как она была на сцене, так в сильный мороз и прибежала, бедняжка, домой... Я плакал, рвал на себе волосы, да этим не помог. Она лежала без чувств и, когда открыла глаза, то, завидя меня, вздрогнула и снова закрыла их. Всю ночь я простоял на коленях у ее постели, спрятав голову от стыда и угрызания совести. К утру щеки ее стали пылать, всё лицо передергивалось, и разразилась она бредом, и таким страшным, таким страшным! Она то плакала истерически, зачем я ее ударил, то пряталась от меня, крича, что я хочу повторить опять то же; одним словом, пытка была для меня так сильна, что она-то меня и довела до несчастной моей слабости. Она была молода, и силы взяли верх над болезнью. Первый раз, придя в память, она ничего не помнила и ласково глядела на меня. Но припомнив, что было до болезни, она прогнала меня с отвращением. С этой минуты я махнул рукой на всё и дошел до того, что меня за два дня до представления запирали в бутылочку, чтоб я прошел роль. С тех пор голос у меня стал пропадать; я постарел, обрюзг

и занял роли комические. Женщин я боялся, да, признаться, и всех людей. Но потом память моя стала свыкаться с моим проступком, да и слабость от излишнего пристрастия к вину. Я сделался опасно болен. В продолжение всей болезни, без моего ведома, за мной ходила одна из наших актрис. Жалость ко мне... нет, она любила меня... заставила это сделать. Она была не в первой молодости, много испытала неудач в жизни и ко мне, верно, привязалась, как к человеку потерянному. Я был тронут ее заботами обо мне. Но и тут мне была неудача: такой ревнивой женщины я не видывал, – впрочем, может быть, потому, что она любила меня. Но я сам себе казался так ничтожен, что даже не хотел верить, чтоб кто-нибудь мог питать ко мне порядочное чувство. Она ссорилась со мной, когда я пил лишнее. Мне стали скучны ее слезы. Я убежал ее – она пуще меня ревновала. По правде сказать, я особенно ни за кем не ухаживал, а разве под веселый час побалагуришь. Нет, не верит. Ну, чем образумишь, коли что вобьет себе в голову женщина? Поехала наша труппа на ярмарку. Была зима, и суровая. Восемь повозок тащилось по степям, с кулисами и гардеробами. У меня была особая кибитка, и всё она устроила, чтоб я не ехал вместе с быстроглазой актрисой, к которой она меня ревновала, – а быстроглазая, как назло, всё вертится перед нами, как, бывало, остановимся на станции. Проехали мы с полдороги – ну, просто мука: замучила меня ревностью. Я крупно поговорил с ней утром, а к вечеру остановились пить чай на постоялом дворе. Она удивила меня: перестала коситься, стала поить чаем и сама ну подливать мне рому в чашку. Было холодно, и я погрелся. Сели мы в кибитку последние; наши уехали вперед. Она меня крепко поцеловала, как часто делывала. Я, покалякав с ней, завернулся с головой в шубу да и заснул. Я проснулся: кругом было тихо, снег валил страшный, ямщик пел, лошади едва тащили кибитку. Мне как-то просторно показалось около. Я рукой ищу ее, где она... Мороз пробежал по коже. Я крикнул ямщику: «Стой». Кибитка стала «Где хозяйка?» – крикнул я ямщику. «Не могу знать», – удивлением отвечал ямщик и, не доверяя мне, пошарил рукой в снегу, который завалил пустое место. Я с ужасом всплеснул руками и тут догадался, что значило и подливание рому и последние ласки. Я велел догонять наши кибитки, всё еще питая надежду, не пошутила ли она. Но ее там не было. Мы все вернулись на постоялый двор, ища по дороге ее: может быть, думали, не выпала ли как, хотя дорога была гладка как зеркало. Часа два я бегал по большой дороге, крича ее; но ответа не было. Кибитка поехала. Я остался на постоялом дворе и два дня ждал ее: думаю, может вернется. Но потом приехал за мной содержатель театра. Мы с ним с горя выпили чайку с ромом. Я очнулся, когда уж мы прибыли на место.

Остроухов горько усмехнулся и сказал:

– Ну, что скажешь ты теперь обо мне?

И, не получив ответа от своего друга, он лег ничком на кровать. Тишина настала в комнате.

Вдруг послышались всхлипывания.

Мечиславский вздрогнул и подошел к своему другу, стал его уговаривать; но тот продолжал плакать, повторяя:

– Федя, тяжело! я погибший человек.

Голос его совершенно ослаб, всхлипывания стали тише и тише, наконец затихли. Мечиславский с грустью глядел на своего друга, и слезы блистали в его глазах.

Глава XIX

Перед спектаклем

На другой день Остроухов проснулся довольно рано. Он смутно помнил прошедший день. Он чувствовал тяжесть во всем теле, голова была особенно тяжела; но это не помешало ему погрузиться в раздумье об Мечиславском, который после бессонной ночи только что заснул. Его сон был тревожен, судя по краске на его бледных щеках, нахмуренным бровям, сжатым судорожно губам и по отрывистому дыханию.

Остроухов, сидя на своей кровати и оглядывая свою комнату, в первый раз был поражен ее неопрятностью и даже нищетой. В эту минуту он походил на человека, который вдруг открывает в женщине, виденной им ежедневно в продолжение нескольких лет, особенную черту, прежде не замеченную. Так точно и Остроухов сидел долго в каком-то удивлении. В то утро солнце бросало яркий свет сквозь тусклые и запыленные стекла и, играя пыльным лучом, падало прямо на лицо спящего Мечиславского. Остроухов соскочил с кровати и, взяв шерстяное одеяло с постели, долго возился, чтоб занавесить им окно. Но так как оно было дыряво, то лучи пробивались и, словно назло Остроухову, пятнами освещали его друга. Усевшись на кровать, Остроухов рассуждал сам с собой, глядя на спящего: «И сон-то твой лишен приятности: солнце режет тебе глаза, если вздумает осветить нашу каморку. Разве так надо ему жить? Надо, чтоб его окружала роскошь, чтоб он мог весь погружаться в искусство. Я дело другое – на сцене я разыгрываю людей ничтожных, шутов или погибших; публика аплодирует мне за верное изображение их, не зная того, что, сойдя со сцены, я сниму только лохмотья или шапку паяса, смою белилы, а возвращусь домой всё таким же погибшим человеком. Он же занимает роли людей чистых, с гордой душой, не знающих других страданий, кроме страданий своего сердца. Он должен весь быть совершенством и нежностью, пред ним все преклоняются, он герой на сцене. И, сойдя с нее, он возвращается в ту же комнату, как и я! Глуп был я, когда, зная всё, обвинял его в бесталанности. К тому ж его любовь... да, он любит, и так любить только могут люди, для которых любовь делается жизнью; отними ее – и жизнь погибла. Боже, за что он погибнет! что я могу сделать для тебя?» – И старый актер со слезами глядел на спящего, лицо которого выражало страдание. Слабый крик вырвался из груди Мечиславского, и он застонал.

– Федя, Федя! пора на пробу, – сказал нетвердым голосом Остроухов, наклоняясь к лицу спящего, на лбу которого выступил пот крупными каплями.

Мечиславский открыл глаза и, с удивлением посмотрев на Остроухова, пугливо спросил:

– Что тебе надо? что случилось?

– Да ничего: ты что-то во сне стонал.

– А, спасибо!.. Мне снилось страшное.

Мечиславский вытер пот со лба.

– Ну, вставай; напьемся чайку, да и на пробу.

– Да что-то рано! – отвечал Мечиславский, потягиваясь, и, увидав занавешенное окно, в недоумении спросил: – Это что?

Остроухов сконфузился и после минуты молчанья отвечал:

– Да солнце бутылку очень нагревает, а...

– Ты как нежная мать о ней хлопочешь! – сказал Мечиславский.

Остроухов обиделся и с упреком посмотрел на своего друга.

За чаем Остроухов рассказал ссору Любской с Дашкевичем и причину ее.

Надо было видеть волнение, с каким слушал его Мечиславский; он, не подымая глаз, едва только мог сказать:

– Я думаю, она очень огорчена.

– О нет! ведь она только назло Ноготковой показывала вид, будто интересуется им!

– Неужели! – радостно вскрикнул Мечиславский и, потупив глаза, стал пить свой чай, обжигая им рот.

Остроухов иронически глядел на своего друга. Покончив чай, они отправились на пробу.

Мечиславский сделался необыкновенно весел, репетировал свою роль с одушевлением, примерил платье к вечеру, чего с ним прежде никогда не случалось, и, возвратясь домой, стал фехтовать на рапире.

Остроухов зубрил свою роль и сердился на своего друга, что он мешает ему учить ее.

Пообедав, он лег отдыхать перед спектаклем, а Мечиславский, расхаживая по комнате, проходил вполголоса свою роль наизусть, потом стал собирать узлы. Он выдвинул из-под кровати плетенную из белых прутьев корзину, положил туда белье, свой маленький туалет, роль Остроухова, парик со стола и лег на диван.

Проснувшись, Остроухов потянулся и, зевая переливами, сказал:

– Федя, смерть испить хочется: нет ли у нас кваску?

– Есть бутылка, да я думал взять ее в театр.

Остроухов выпил чуть не всю бутылку, от удовольствия крикнул и стал одеваться. Одевшись, он велел захватить Мечиславскому его вещи и вышел из комнаты.

Перейдем теперь к Любской. Как актеры молодые и старые, так и актрисы перед спектаклем отдыхают, иные и спят, для приобретения сил к вечеру. Любская лежала на диване; горничная собирала узел. Это не то что актер, платье которого большею частью остается в уборной. Нет, актрисе иногда надо до десяти платьев везти с собою; а сколько белья, шпилек, булавок, белил, румян! да и не перечтешь всего! Горничная, собрав узел, оставила одну Любскую, которая, кажется, только того и ждала, потому что тотчас же, уткнувшись в подушку, стала плакать. Она не заметила прихода Остроухова, который почти всегда приходил к ней не с главного хода. Он постоял с минуту, кашлянул тихо. Любская вздрогнула и подняла голову.

– Что это, матушка моя, еще не наплакалась?.. Ну, полно глазки-то тереть, есть о чем, небось золотце потеряла!

– Да я совсем не о том плачу: я не дура, – обидчиво отвечала Любская.

– О чем же?

– О том... о том, что я была слепа, что я поверила ничтожному человеку.

И она опять заплакала.

– Эх, зато зорче будешь! а оно тебе не мешает.

– Что еще вы знаете! – в отчаянии воскликнула Любская.

– Полно! Я пришел к тебе по одному важному дельцу.

– Что вам угодно?

– А вот что...

Остроухов замялся.

Любская нетерпеливо глядела на него.

– Видишь ли, вот вы... вы ничего не видите... Ты ведь женщина порядочная; иначе я не стал бы и говорить с тобой.

– Да что же? скажи скорее.

– То... что вот вы все без исключения плачете о пустяках и не видите истинно плачевного. Небось вы сейчас подметите, кто об вас страдает в партере, и не замечаете, что творится возле вас на сцене.

Любская с удивлением произнесла:

– Я ничего не замечала, право.

– Тем хуже: человек гибнет, а ты даже не удостоила обратить...

– Кто? что такое? что вы говорите? – поспешно перебила Любская.

Остроухов отвечал:

– Тебе не нравится: оно, конечно, актер... фи! – презрительным голосом сказал Остроухов.

Любская пугливо посмотрела на Остроухова; лицо ее как бы вдруг озарилось какою-то мыслью, от которой оно вспыхнуло, но тотчас же покрылось бледностью. Тихо и невнятно она произнесла:

– Неужели Мечиславский?

Остроухов произнес выразительно:

– Ага!

Любская как бы в негодовании заходила по комнате, судорожно ломая руки.

Остроухов нахмурил брови и гордо сказал:

– Я вижу, вы оскорбились: оно, разумеется, он...

Любская зарыдала.

Остроухов замолчал и, махнув рукой, сказал:

– И дернуло меня впутаться в такое дело! Ну, перестань, я так... ну, полно!

Любская рыдала как безумная.

– Карета приехала! – сказала вошедшая горничная.

Остроухов схватился за голову и с негодованием воскликнул:

– Ах я старая башка! что я наделал! и забыл, что ведь она должна сегодня такую большую роль играть! – и, обратись к Любской, которая платком душила свои рыдания, прибавил: – Я дурак, я вовсе не думал, что говорил. Прости, ну, прости!

И он с искренностью протянул руку. Любская подала ему свою.

– Ну, вот люблю, не злущая, – тихо произнес он и, сказав: «Прощай», ушел в большом волнении.

В шестом часу сцена еще была темна и пуста; изредка проходила актриса с громадными узлами в уборную, и за ней кучер проносил огромную корзину с платьями. Зато уборные были ярко освещены. Говор, смех, толкотня представляли странную противоположность с пустынной сценой. Большею частью в провинциальных театрах уборные бывают общие, для двух-трех одна. И только привилегированные актрисы получают особую уборную. Иногда ее украшают роскошно, и тогда с завистью подходят и заглядывают в нее прочие актрисы, а хористки даже понижают голос, проходя мимо такой уборной.

Но мы обратимся к общей уборной. Это была большая комната без окон, а с узкими отверстиями, чуть не у потолка, в виде окон. Посредине трюмо, освещенное двумя лампами, прибитыми высоко к стене. Сбоку зеркало и ломберный стол, тоже с двумя лампами по бокам. На противоположной стороне диван и стол; двери огорожены ширмами, которые служат и вешалкой для платьев.

Некоторые актеры и актрисы бродили уже около уборных, подсматривая, где пьют чай.

...Орлеанская явилась первая в уборную с родственницей своего мужа, которую она называла Саша.

Лицо Саши ясно доказывало трудность исполнять подобную роль у взыскательной актрисы, какою слыла Орлеанская. Тучное ее тело было облечено в широкий и чрезвычайно нескладный капот. Волосы были в папильотках, что делало ее сердитое и еще не совсем разгулявшееся после сна лицо не очень привлекательным.

Поджав ноги, она сидела на диване за чаем и допивала шестую чашку, с шумом прихлебывая.

Напротив нее сидела Деризубова и вторила ей, держа блюдечко пятью пальцами. Саша разбирала узел, выставляя на стол белилы, румяны и разные принадлежности туалета. Вдруг она вскрикнула и с ужасом глядела на пустую коробочку, где лежали только две булавки.

– Что, забыла? – крикнула Орлеанская.

Саша замялась.

– Ну, так! вот корми, одевай, трудись для них, а они сидят себе сложа руки и ничего не помнят.

Орлеанская на этот раз была несправедлива перед своей родственницей. На руках ее лежал весь дом и дюжина детей, которых Орлеанская и не видала никогда, потому что, любя тишину, не допускала детей за три комнаты до своей.

– Я сейчас займу у кого-нибудь, – робко проговорила Саша.

– Не нужно-с, вы бы еще пошли хныкать да канючить по чужим уборным, когда у меня всё есть.

– Ты слышала об Любской? – сказала Деризубова.

– Да, да, ха-ха!

Орлеанская громко засмеялась; в то время из рук Саши выпала баночка, за что Орлеанская страшно раскричалась и опять заключила фразой:

– Вот корми ее, обувай.

На глазах Саши блеснули слезы, которые она пугливо скрыла, уткнувшись в картонку лицом, будто бы ища чего-то.

Прибытие Любской отвлекло от Саши внимание Орлеанской. Любская поклонилась со всеми, и с Сашей даже, но только одна Саша отвечала ей на поклон как следует. Орлеанская презрительно кивнула головой; Деризубова произнесла выразительно:

– Здравствуйте.

И она стала перешептываться с Орлеанской, которая с наглостью залилась смехом на всю уборную.

Горничная Любской, разбирая ее узлы и картонки, гордо смотрела на Сашу, разглаживавшую косу, привязанную к спинке стула, стоявшего у трюмо.

Перешептывание Орлеанской и Деризубовой было прервано стуком в дверь уборной.

– Кого несет? – закричала грубо Орлеанская.

– Я, маменька, это я, голубушка, моя герцогиня! – выглядывая из-за ширм, сказал актер с бесчисленными бородавками на лице.

– А, Ляпушкин! – произнесла покровительственным тоном Орлеанская, у которой актер с раболепством поцеловал руку, за что получил щелчок той же самой рукой.

– Ах ты повеса! – крикнула Деризубова и, вскочив с своего места, прижала Ляпушкина в угол стены и тут начала его бить, приговаривая: – Вот тебе, вот тебе, не повесничай!

– Матушка, родная, не буду, дай перевести дух! – пищал жалобно Ляпушкин, страшно гримасничая.

Орлеанская хохотала во всё горло. Саша и горничная улыбались; одна Любская морщилась: видно было, что на нее нехорошо действовала эта сцена.

– Ай да Матрена! поделом ему! – вытирая слезы, сказала Орлеанская.

– Уф, устала! – сказала Деризубова, махая руками, как извозчики в мороз на улице, и прибавила: – Налей-ка мне чашечку.

– И мне тоже, маменька! – заметил Ляпушкин.

– Который раз пьешь сегодня? – спросила Орлеанская.

– Ей-ей, еще первый, маменька. Ну, кто у нас добрее вас? Вы не то что другие; вы сами всех угощаете.

Ляпушкин подмигнул на Любскую, сидящую у зеркала с полотенцем в руке. К счастью, что половина лица ее была уже забелена, и потому не так заметно было вспыхнувшее на нем негодование.

– пей, на... – сказала Орлеанская, сунув небрежно стакан чаю в руки Ляпушкина, который нежным голосом сказал:

– Я возьму сухарик?

И взял пять целых.

Орлеанская села у трюмо и тоже стала белиться и румяниться. Саша стояла перед ней, подавая ей то одну баночку, то другую.

Деризубова с Ляпушкиным, опустошив весь чайник, сахар и сухари, скрылись незаметно из уборной.

Орлеанская, по мере окончания туалета, ворчала всё сильнее и сильнее на Сашу, – зачем крепко косу ей привязала, не так пукли взбила, – и заставляла ее перечесывать голову, аккомпанируя любимой фразой:

– Ну за что вас кормить, одевать!

Любская представляла совершенный контраст: она одевалась, не произнося слова, как будто ей было тяжело говорить, и только жестами или глазами указывала на вещь, какая ей была нужна. Зато ее горничная была полна негодования, и по морганию ее пепельных ресниц и фырканью можно было заключить, что она горела желанием сгрубить Орлеанской. Но представился случай, и горничная обнаружила совершенно противное. Орлеанская так рассердилась на Сашу, что оттолкнула ее от себя и, обращаясь к горничной Любской, ласково сказала:

– Милая, пришил мне мантию. Она ничего не умеет сделать.

– Извольте-с! – с услужливостью отвечала горничная и стала ей прикалывать мантию; Саша тем временем плакала.

Орлеанская грозно говорила:

– Плачь, плачь! – и истинно герцогской поступью вышла из уборной, прибавив: – Извольте взять питье и зеркало.

Колокольчик пронзительно прозвонил у дверей уборной, и Орлеанская поспешила выйти. Любская с участием заметила плачущей, что не следует ей огорчаться, потому что Орлеанская постоянно воевала в уборной. Саша, казалось, утешилась этим доводом и, взяв графин с питьем, булавок, зеркало, румян, последовала за Орлеанской.

Горничная разразилась негодованием на Орлеанскую, доказывая, что она за пятьдесят рублей не стала бы одевать такую капризную. Прозвонили второй раз в колокольчик. Любская сказала своей горничной:

– Скорее, скорее!

В уборной Ноготковой Ляпушкин и Деризубова упивались чаем и пожирали сухари. Ноготкова, мурлыча под нос свою роль, проводила тушью брови и сказала:

– Ну, скорее, мне пора одеваться!

Ляпушкин, чуть не захлебываясь, допил стакан чаю и, вытирая губы руками, подошел к Ноготковой и сказал:

– Красавица моя, маменька золотая!

– Ты его хорошенько! – заметила Деризубова.

Ляпушкин, гримасничая, на цыпочках вышел из уборной. Прозвенел пронзительно колокольчик у двери уборной, и голос режиссера раздался: «На сцену, на сцену!»

– Я не одета еще! – закричала Ноготкова.

Деризубова крикнула тоже:

– Слышишь, она не одета.

– А, мое почтение-с, Дарья Петровна, – входя в уборную, сказал режиссер и прибавил: – Да вы успеете: вам во втором акте выходить.

– Ах да! – произнесла Ноготкова и опять занялась своими бровями.

Мечиславскому прикалывал портной банты на башмаки, а Остроухов румянил его.

– Довольно! – заметил Мечиславский.

– Как довольно? в последнем акте больше эффекту произведешь, как сотрешь румяны.

Прозвонил тот же колокольчик, и тот же голос прокричал: «На сцену, господа, на сцену!»

В уборной всё засуетилось: кто бросил последний взгляд в зеркало, кто торопился надеть шляпу, кто натягивал перчатки.

Глава XX

Торжество Любской и Мечиславского

За четверть часа до поднятия занавеса сцена была освещена и наполнена народом, все участвующие в пьесе и не участвующие ходили по сцене, кричали, смеялись и очень часто ссорились. В этот вечер давали трагедию с бесчисленным множеством действующих лиц и актов. Режиссер страшно суетился по сцене, расставляя воинов и придворных дам. Орлеанская величественно и тяжеловесно расхаживала по сцене с ролью, а за ней следовала Саша, придерживая ее шлейф. По временам Орлеанская понюхивала табак, брала зеркало из рук своего пажа, долго глядела на свой нос и подбеливала его. Молоденькие актрисы, танцовщицы, как мухи на сахар, слетались со всех сторон к кружку занавеси, чтоб посмотреть в партер, и друг перед другом хвастали.

– Место! место!! – повелительно прокричал режиссер и, заглянув за занавес, три раза ударил ногой об пол.

Музыка заиграла, и со сцены разбежались все, исключая тех актрис и актеров, кому следовало остаться.

Орлеанская усаживалась на стул. Саша расправляла ей шлейф.

– Пора... место, господа! – кричал режиссер Орлеанскому, который с жаром рассказывал другому актеру, как он сшиб в среднюю лузу желтого.

Режиссер, кинувшись за кулисы, отчаянным голосом закричал: «Место!», и с последним аккордом музыки занавес медленно взвился.

В пьесе всех холодно принимали, исключая Мечиславского и Любской. Первый играл с таким одушевлением, что все за кулисами выразительно переглядывались. В этот вечер его фигура как-то была хороша. Он не горбился, не приседал, держался прямо и гордо глядел на всех. Грустное состояние духа шло очень к роли Любской, и рукоплескания не умолкали, когда они были на сцене. Орлеанская бесилась и, стоя на сцене, чуть не вслух бранила публику. Ноготкова тоже страшно злилась.

В последнем акте обыкновенно два любящие сердца, скрывавшие свою любовь, наконец открывают ее друг другу. Мечиславский так разыграл эту сцену, что рукоплескания несколько секунд потрясали театр и «браво» раздавалось на разные голоса. Любская, в объятиях своего возлюбленного, рыдала непритворно, тронутая игрой Мечиславского, который в восторге осыпал поцелуями ее голову. Любская первая опомнилась и шепнула Мечиславскому:

– Вам начинать; пора, пора!

Мечиславский едва мог опомниться; он не находил нити своей роли, не слышал суфлера, который чуть не вылез из своей будки, подсказывая ему. Поза, лицо так шли к роли любовника, обезумевшего от счастья, что публика приняла молчание Мечиславского за рассчитанное и осыпала его аплодисментами.

...С начала сцены Остроухов, стоя у парусинной двери, смотрел в щель и, как будто его слышал Мечиславский, бормотал одобрительно: «Хорошо, живее, ниже возьми, не хватит голосу окончить монолог. Bravo!» Наконец он смолк и, прильнув головой к парусине, отрывисто дышал; губы его судорожно дрожали, и по морщинистым щекам текли ручьями слезы...

Не дали опустить занавеса, как публика стала вызывать Мечиславского и Любскую; режиссер, как бы не слышав, выпустил одного Мечиславского. Публика требовала Любскую. Режиссер опять хотел выпустить одного Мечиславского, который, к удивлению всех, назвал режиссера интриганом и не хотел идти без Любской. Нечего было делать: уже начавшая

раздеваться Любская вышла с Мечиславским. Вызов повторился. Любская, раскланиваясь с публикой, сказала тихо Мечиславскому:

– Приходите пить чай.

И они разбежались по своим уборным. Любская разделась очень скоро, под страшные крики Орлеанской и слезы Саши. Ноготкова не раздевалась, а рвала от злости платье и, топая ногами, кричала на режиссера, зачем он ей не дал роль Любской.

– Да вы ведь сами не хотели ее взять, помилуйте!

– Так не смей повторять эту пьесу: я больна, слышите, я больна! Слава богу, что Карп Семеныч болен (так звали содержателя театра), а то вам бы досталось.

Режиссер махнул рукой и вышел от Ноготковой, ворча себе под нос.

– Велика штука Карп Семеныч! мне стоит открыть все его штуки Калинскому, так ему достанется.

Мечиславский чувствовал себя как-то странно; он как бы всё смутно понимал, шум и крики публики гудели еще в его ушах; ему хотелось смеяться; в то же время он чувствовал, что слезы дрожат на его ресницах. Пот катил градом с его лица; ему было душно, а от внутренней лихорадки руки и ноги его дрожали.

В уборной набралось множество народу, в том числе и Калинский, который благодарил Мечиславского от лица всех любителей театра. Мечиславскому пожимали руки, осыпали его похвалами. Многие делали ему предложение идти в кофейную театра, чтоб там покончить торжество, но Мечиславский от всего отказался.

– Оно и лучше; ты, брат, устал, дома выпьем чайку да покалякаем, – заметил Остроухов.

– Я... мне нужно зайти, ты захвати мой узел, – не очень свободно отвечал Мечиславский.

– А ты куда? – с удивлением спросил Остроухов, на что не получил ответа от своего друга; но он недолго мучился разгадкой, следя за Мечиславским, который тщательно смыл белилы и румяны с своего лица, долго повязывал галстук перед зеркалом, пробирал пробор с десять минут, и все-таки пробрал криво, потому что гребенка как-то подпрыгивала на его голове. И когда он поспешно выбежал из уборной от докучливых поклонников чужой славы, Остроухов улыбнулся и, надевая тубу, сказал:

– Значит, у ней есть сердце.

Когда Остроухов вернулся домой, ему как-то не захотелось пить одному чай; клекотавший самовар сердил его, – он закрыл его крышкой. Курить ему также не нравилось. Тускло горевшая свеча бесила его, и он раздвигал светильню, чтоб она ярче горела.

Он улегся было на свою кровать, но тотчас же вскочил и стал прохаживаться по комнате. Его страшно тревожила мысль: отчего он, не менее владевший талантом, не имел в своей жизни такого торжества? И он, как бы желая испытать свои силы, драпируясь в свой изодранный халат, с жаром и жестикуляцией прошел некоторые сцены из роли Мечиславского. В одном монологе он вдруг остановился и, с грустью покачав головой, тихо побрел до своей кровати и лег, уткнув голову в подушку. Мрачные мысли толпились в его уме. Счастливый его друг не выходил у него из головы; ему казалось, что он видит его сияющего от блаженства. Он вспомнил свою молодость, и ему казалось, что он не потерял еще способности страстно любить. И, постепенно впадая в дремоту, он погрузился в сладкие грезы: ему живо чудилось, что он молод, лежит в душистой траве, в саду; воздух чист и ароматен; ветерок нежно ласкает его лицо, на котором и следов нет морщин. Кругом гигантские деревья, с необыкновенно широкими листьями, с пестрой зеленью, тихо склоняясь по прихоти ветра, нежно что-то шептали. Повсюду, куда он ни посмотрит, везде являлись огромные влажные цветы и как бы томились своим благоуханием и красотой. Какие-то странные птицы, с золотыми перышками и все искрясь, порхают над его головой, нежно и сладко напевая. По траве прыгают и порхают какие-то блестящие мухи с огненными крылышками. Львы и другие

красивые звери дружно играют между собой. Всё так радостно вокруг его. Вдруг всё засуетилось: птицы радостнее запели, звери заржали, и в каком-то голубоватом облаке явилась перед ним женщина. Он вглядывается и от радости задыхается: это его бывшая невеста – так же молода, так же хороша. К ней ласкаются страшные звери, у которых сделались вдруг человеческие лица.

Он кидается к женщине; но она ловко взлетает на дерево и манит его к себе, качаясь на ветке, окруженная птицами, которые, щебеча, порхают вокруг нее. Он хочет влезть на дерево; но по мере того как он поднимается, дерево растет всё выше и выше, сад исчезает под его ногами, облака копошатся внизу; он едва различает воздушный образ своей невесты, как вдруг его кто-то берет за руку, и он быстро полетел в густые облака, которые становятся всё прозрачнее; наконец он ясно видит огромную залу и посреди возвышение; множество людей, богато одетых, при появлении его раболепно преклоняют колени; он смело идет к возвышению, на котором сидит опять его невеста, держа лавровый венок, он становится на колени и преклоняет голову. Надев его, он с ужасом глядит кругом: богатая зала исчезла и превратилась в сцену, вместо невесты его перед ним Орлеанская в костюме герцогини, – она злобно улыбается. Вокруг разряженные дамы, в которых он узнает актрис, в народе – фигурантов; все смеются и шепчутся. Он хочет бежать из залы – ему заслоняют дорогу; однако он после борьбы проталкивается, бежит по какой-то длинной сцене; за ним гонятся все с криками и смехом. Хохот Орлеанской покрывает всё... Вот он достигает дверей; но у них открывается люк, и он, желая перескочить, падает в него...

Глава XXI

Вечер у Любской

Любская возвратилась домой усталая и в тревожном состоянии духа. Она отдала горничной приказание подать чаю, когда придет Мечиславский. Это привело в негодование Елену Петровну; она зафыркала и кричала в кухне, что дня не останется жить, потому что Любская стала принимать Мечиславского. И когда тихо позвонили у двери, горничная не двигалась с места, бормоча презрительно:

– Померзни, померзни.

Заслышав звонок, Любская пришла в сильное волнение, лицо ее побледнело; глаза устремились к двери; но дверь, как бы томя ее, не раскрывалась, потому что горничная хотела поморозить Мечиславского, а он не решался звонить еще раз и терпеливо ждал. Кухарка, сжалась, впустила его; тогда горничная, выхватив у ней из рук свечку, крикнула:

– Не в свое дело не суйся!

– Дома?.. – робко спросил Мечиславский, снимая свою шинель.

– Идите.

И горничная грубо раскрыла дверь в темную комнату и, не посветив гостю, заперла ее за ним, а сама с сердцем толкнула ногою его шинель, оставленную на стуле.

Любская вышла к нему со свечой в руке, которая дрожала, обличая волнение Любской.

Они молча раскланялись. Любская пригласила гостя идти за ней. Они вошли в небольшую комнату, убранную очень просто; указав на стул гостю, Любская села на диван. Как хозяйка дома, так и гость равно находились в затруднительном положении, судя по их взглядам и краске, которая на мгновение покрыла их щеки, чтоб потом сильнее выказать их бледность. Любская первая прервала молчание, однако не словом, а звоном колокольчика, стоявшего на столе; на зов явилась горничная.

– Подай чаю!

Горничная, кинув презрительный взгляд на гостя, важно вышла.

Любская наконец сказала:

– Вы открыли нашу тайну.

– Как? кому? – пугливо воскликнул Мечиславский, взглянув ей в лицо в первый раз с той поры, как пришел.

– Он знает всё, – с упреком отвечала Любская.

– Клянусь вам, я никому не заикался! – смело возразил Мечиславский.

Шумно появилась горничная с подносом и, небрежно поставив его на стол, гордо удалилась. Чай был без сахара, совсем холодный; горничная рассчитала рассердить Любскую и уже причитывала в своей голове грубые ответы; но напрасно: ни Любская, ни гость не дотронулись до чаю. Они снова молчали и видимо тяготились этим оба.

– Вы слышали, как кричала Орлеанская, что публика глупа, потому только, что не аплодировала ей? – спросила Любская.

– Да она, кажется, на всех сердится, – отвечал гость.

– Но вы сегодня играли удивительно: я бы вас не узнала по голосу, так он был силен и в то же время мягок. Вам надо обратить внимание на себя: вы будете хорошим актером. Будьте развязны, как сегодня. Я в первый раз еще видела актера, который, казалось, не говорил заученные слова, но как будто сам их изобретал, смотря по своему положению... Знаете ли... что ваша игра сделала на меня такое впечатление, что я решила ехать отсюда?

Последние слова Любская произнесла тихо.

Мечиславский вздрогнул и с ужасом глядел на Любскую, которая, потупив глаза, продолжала:

– Я хочу учиться, я хочу сама быть чем-нибудь. На провинциальном театре я далеко не пойду. К тому ж разного рода притеснения выводят меня из всякого терпения... Впрочем, я хотела бы знать ваше мнение: как вы думаете?

Любская нетерпеливо глядела на Мечиславского, но он, уткнув глаза в фуражку, ничего не отвечал; она продолжала:

– Сплетни мне надоели.

– Они везде одинаковы! – глухим голосом произнес Мечиславский.

– О нет! здесь они страшны! Мне противно входить в театр... Нет, я не могу, я не останусь здесь! – с горячностью и сквозь слезы говорила Любская.

Слова ее были прерваны страшным звоном в колокольчик.

– Кто бы это? – пугливо проговорила Любская и, заслышав шум в передней, кинулась к двери, ведущей в темную залу. Зала тускло осветилась при появлении горничной со свечой в руках; за ней шли двое мужчин. Любская слабо вскрикнула, захлопнула дверь и страшно побледнела.

– Кто там? – вскочив с места, спросил Мечиславский.

– Калинин и...

– Я уйду, примите их.

– Нет! пусть они вернутся домой, я их не приглашала. Я даже им запретила посещать мой дом.

Лицо Любской дышало гневом, и когда горничная вошла в комнату, нарочно распахнув дверь за собой, и громко произнесла: «Гости-с!», Любская с минуту не знала, что делать и что отвечать. Мечиславский привстал; но она, удержав его за руку, гордо сказала горничной:

– Проси! – и, обратись к Мечиславскому, прибавила задыхающимся голосом: – Вы увидите, как я их приму.

Калинский вошел первый, раскланявшись с Любской, взял за руку Дашкевича, стоявшего позади его, и сказал с любезнейшей улыбкой:

– Я взял всю ответственность на себя. Мы не могли удержать нашего восторга к вашей игре и поспешили изъявить вам свою глубочайшую благодарность.

Любская выслушивала их стоя; глаза ее искрились, и насмешливо-презрительная улыбка дрожала на ее губах.

Калинский тотчас же обратился к Мечиславскому, пожал ему с чувством руку и продолжал:

– Вы гордость нашей сцены, мы оценим вполне ваш талант.

– Вы прекрасно играли сегодня! – крутя усы, прибавил Дашкевич, обращаясь к Любской, которая, измерив его глазами, отвернула голову, так что Дашкевич закашлялся.

Несмотря на то что Любская не приглашала их сесть и сама стояла, Калинин продолжал говорить, поминутно рассыпаясь в похвалах то Любской, то Мечиславскому, а Дашкевич расхаживал по комнате.

В эту минуту горничная внесла поднос с чаем и лукаво глядела на Любскую, которая от негодования медленно опустилась на свое место; гости с развязностью последовали ее примеру, с чашками чаю в руках.

– Не угодно ли сухариков? а сливочек? – лепетала горничная, закатывая свои пепельные глаза и как бы стараясь любезностью загладить холодность своей госпожи.

– Вы знаете, что я исполнил ваше приказание, – вполголоса сказал Калинин, придвигаясь к Любской.

– Благодарю вас! Вы сделали доброе дело, определив эту девочку, – громко отвечала Любская.

– Я рад, что угодил вам, зато подвергся гневу одной дамы, – лукаво улыбаясь, уже громче произнес Калинин.

– Да, она очень сердится на вас! Впрочем, ей поделом.

Дашкевич не закончил и запил свою фразу чаем, от которого поперхнулся, причем облился, вскочил и стал отираться платком. И всё это произошло от одного взгляда Любской, брошенного на него.

Мечиславский задыхался; его глаза горели гневом и медленно переходили от Калинского к Дашкевичу.

Любская, заметив это, подвинулась к нему ближе и сказала ласковым голосом:

– Я вам и не досказала всего анекдота.

– Мы, кажется, вам помешали своим приходом, – заметил Калинин.

Любская ничего не отвечала и начала говорить, как бы оканчивая начатый прежде рассказ.

Калинский встал и, кланяясь, с особенным ударением произнес:

– Мы боимся узнать, может быть, лишнее.

– О нет! у актрис не может быть тайн. Мне кажется, все знают, что они даже думают.

– Впрочем, в сию минуту я точно знаю, что вы думаете, – смеясь, сказал Калинин.

– Что ж! ничего нет проще, как угадать мои мысли, потому что я даже не стараюсь их скрывать.

Дашкевич, поклонясь, вышел в залу. Калинин, пожав руку Любской, прошептал нежно: «Жестокая!» – и, отвесив поклон, вышел из комнаты.

Любская схватила себя за голову и, сжимая ее, простонала:

– Боже мой, боже мой!

Мечиславский кинулся запереть дверь, чтоб уходящие не слышали рыданий Любской, которыми разразилась она.

– Я не смел; но один ваш одобрительный взгляд, и я бы вытолкал их из вашего дома!

– Нет! я ни за что не останусь здесь! – говорила Любская, сдерживая свои рыдания.

– Вам надо ехать, и как можно скорее! – заходя по комнате, отчаянным голосом сказал Мечиславский.

Любская вытерла слезы и, с участием посмотрев на Мечиславского, умоляющим голосом сказала:

– Помогите мне всё устроить. Я продам всё, заплачу долги и навсегда оставлю этот город. Я посвящу себя одной сцене. Я буду покойна, никого не стану принимать.

– С богом! – решительно произнес Мечиславский и быстро вышел из комнаты.

Он шел долго и всё прямо, не обращая внимания ни на что. Он вышел за город и остановился тогда только, как ноги его стали вязнуть в грязи; ветер крутил воротник его шинели; мелкий снег порошил в воздухе. Мечиславский долго стоял на одном месте, как бы соображая, где он. То было поле за городом. Он так устал, что, возвращаясь, должен был присесть у заставы на камень и просидел на нем до рассвета. Медленными шагами побрел он домой.

В то время Остроухов уже проснулся, но еще не мог успокоиться, взволнованный своими грезами. При шорохе дверей он поспешно закутал голову в дырявое одеяло, из-под которого мог делать свои наблюдения. Он ждал встретить Мечиславского с сияющим лицом и чуть не вскрикнул, увидав своего друга с бледным, даже посинелым лицом; волосы его на висках смокли, сапоги и шинель были в грязи. Остроухов онемел и не знал, что ему делать. Мечиславский, только что сбросив с себя шинель, кинулся на диван не раздеваясь. Остроухов откинул одеяло и сел на кровать. Он долго глядел на своего друга, который в свою очередь притаился спящим, чтоб не отвечать на вопросы. Остроухов опять лег; и так два друга пролежали молча до самого утра, и когда свет осветил их утомленные лица, они пугливо переглянулись и, как бы сговорясь, повернулись друг к другу спиной.

Глава XXII

Театральный балок и его последствия

Горничная Любской сдержала слово не служить более у такой актрисы, которая принимает Мечиславского. В двенадцать часов на дворе стояли ломовые роспуски, на которые Сидоровна с извозчиком усердно таскала тяжелые сундуки, комоды и перины. Фигура горничной была замечательна в этот день, потому что даже ее пепельное лицо слегка подернулось краской; она отрывисто дышала и поминутно передергивала плечами, командуя Сидоровной и извозчиком и перебраниваясь с кухаркой, еще накануне задушевной своей приятельницей.

Для людей этого класса ничего нет оскорбительнее, как их выезд из дому без брани и шуму. Горничной не удалось покричать с своей барыней, потому что Любская предупредила ее и утром сама вынесла ей паспорт и деньги, сказав при свидетелях, чтоб она сейчас же оставила ее дом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.